20 коп. Индекс 70668

ISSN 0132-2095. Б-ка «Огонек». 1990. № 33. 1—48.

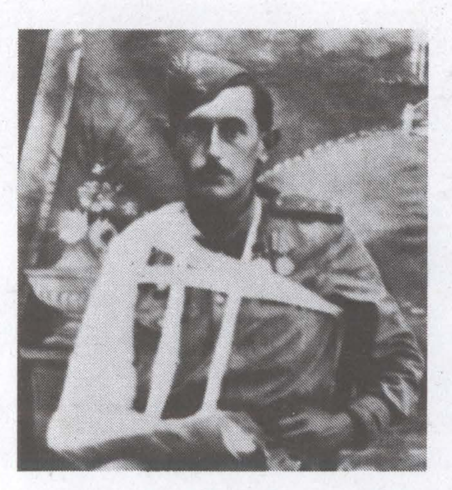
БИБЛИОТЕКА



ОГОНЁК

№ 33 1990

ISSN 0132-2095



Виктор НЕКРАСОВ

ТРИ ВСТРЕЧИ

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 33

Издается с января 1925 года

Виктор НЕКРАСОВ

ТРИ ВСТРЕЧИ

РАССКАЗЫ
ПИСЬМА

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1990

Виктор НЕКРАСОВ

(1911—1987)

Виктор Платонович Некрасов родился 14 июня 1911 года в Киеве, как говорил писатель, «в самом центре древнего Киевского княжества, и, если не на месте самого терема Владимира Красное Солнышко, то, во всяком случае, совсем рядом», на современной Владимирской улице. Первые годы жизни связаны с Францией — Вика Некрасов, которого тогда окружающие звали Бубликом, находился в среде эмигрантов из России: Плеханов, Ленин, Луначарский, Надежда Константиновна, Мария Ильинична — эти имена встречаются в воспоминаниях Некрасова.

Молодость, увлечения, архитектура, театр... Хотелось быть то Корбюзье, то Станиславским, на худой конец Михаилом Чеховым. Немного и писал. «Смесь Гамсуна с Хемингуэем», — вспомнит потом о своих ранних опусах Некрасов.

В тридцать седьмом уцелели — загадка, — ведь родители из «бывших», дворяне, бесстрашная тетка Софья Николаевна Мотовилова писала письма Крупской, Ногину, Бонч-Бруевичу по поводу несправедливых арестов... Может, уберегли чекисты, жившие в одной из комнат уплотненной квартиры Некрасовых, детей которых лечила мать Виктора Платоновича.

Институт. Театральная студия. Некрасов работал в театре. Бродячем, левом, полулегальном. Исколесил Киевскую, Житомирскую, Винницкую области. Потом Владивосток, Киров — театры там настоящие, но роли третьеразрядные. Подхалтуривал декорациями. По вечерам что-то писал. Возвращали. Из театра Красной Армии в Ростове-на-Дону взяли в армию.

Виктор Некрасов по его собственному признанию в одном из писем «в самых адских котлах перебывал», после Сталинграда — госпиталь, снова фронт... Последнее из приведенных здесь писем заканчивается обещанием написать подробное письмо. Его не было — в Люблине второе ранение, так закончилась война для Некрасова.

Свои первые литературные упражнения, закончившиеся рукописью романа «Сталинград» (первое название повести «В окопах Сталинграда»), Виктор Платонович связывал с требованиями врачей разрабатывать парализованные пальцы правой руки. Одна-

ко в фронтовых письмах Некрасова мы обнаруживаем строки, где он тогда уже сообщает родным, что начал работу над романом о войне.

Роман «Сталинград» появился в 8—10 номерах «Знамени» за 1946 год и тут же попал под обстрел критики, да и литературная общественность растерялась: книга написана не профессионалом, а простым офицером, не искушенным в тонкостях соцреализма, ни слова о партии, три строчки о Сталине... Однако через год Некрасов обнаружил свою фамилию в списке лауреатов Сталинской премии. «Только сам мог вспомнить, никто другой»,— загадочно шептал автору, предварительно закрыв двери кабинета, Вс. Вишневский.

С тех пор книга стала образцом, примером, ее издавали и переиздавали. Появлялись сборники фронтовых рассказов Некрасова, повести «В родном городе», «Кира Георгиевна», создавались фильмы по произведениям Некрасова. Казалось, судьба вела писателя к литературному Олимпу.

Однако в обидном, несправедливом анонимном фельетоне, напечатанном в шестидесятые «Известиями», появилось зубоскальное определение писателя: «Турист с тросточкой». Поводом к обвинению Некрасова послужили его замечательные путевые зарисовки в очерках «Первое знакомство» (1960), «По обе стороны океана» (1962), «Месяц во Франции» (1965), в которых писатель «не вывел образ врага».

Началась травля. 12 сентября 1974 года самолет, следующий рейсом Киев — Цюрих, навсегда увез Некрасова из нашей страны. За рубежом были написаны автобиографические произведения: «Маленькая печальная повесть», «Записки зеваки», «По ту сторону стены», «Саперлипопет» — их начинает наконец открывать для себя советский читатель.

Недавно Институт книги провел интересное исследование, посвященное анализу популярности недавно запрещенных писателей. Выяснилось, что произведения Некрасова стоят на четвертом месте в длинном ряду отнятых у народа сочинений, которые хотели бы прочитать или перечитать наши соотечественники. Сейчас такая надежда появилась...

Владимир Потресов

На обложке: Виктор Некрасов после второго ранения. Люблин, июль, 1944 год.

РЯДОВОЙ ЛЮТИКОВ

Как-то ночью я возвращался с передовой. Устал невероятно. Мечтал о сне — больше ни о чем. Приду, думаю, даже ужинать не буду, сразу завалюсь... Но вышло не совсем так.

Спускаясь в овраг на берегу Волги, я еще издали заметил, что возле моей землянки что-то происходит. Человек десять — пятнадцать бойцов толпились около входа в блиндаж.

— Что тут у вас?

— Да заболел вроде один,— ответил кто-то из темноты.

— В санчасть отправить, значит, надо. Чего стоите? Пополнение, что ли?

— Пополнение.

Получали мы его тогда — дело происходило в Сталинграде в конце января сорок третьего года — не часто и не густо. Человек по пятнадцать — двадцать в неделю, моментально расхватываемых батальонами. Тут же, в овраге, как раз против моей землянки, пополнению выдавали тулупы, валенки, теплые заячьи рукавицы, оружие и отправляли на передовую.

Кто-то тронул меня за локоть. Я обернулся. Терентьев, мой связной.

— Симулянт...— Терентьев всегда был всем недоволен, на все ворчал и всех осуждал.— Нажрался чего-то и в «ригу» поехал. Напачкал только.

— Ладно. Позови Приймака. А бойцов давайте-ка к штабу... А то подорветесь здесь на капсюлях. Живо...

Бойцы, ворча, поплелись к штабному блиндажу. У входа в землянку остался только больной. Он сидел на корточках, обхватив колени руками, и молчал, уставившись в землю.

— Что с тобой?

Он медленно поднял голову и ничего не сказал. Его опять стошнило.

— Заведи его в землянку,— сказал я.— А я в штаб и сейчас же назад. Приймаку скажи, чтобы градусник захватил.

Когда я вернулся из штаба, Приймак, фельдшер, сидел уже в землянке и Терентьев поил его чаем.

— Ну, что у него?

— А бог его знает,— отхлебывая горячий чай, сказал Приймак.— Отравился, должно быть. Дай-ка градусник, орел.

Боец полез за пазуху и с трудом вытащил из-под всех своих гимнастерок и телогреек хрупкую стекляшку. Вид у него был плохой — лицо серое, небритое, губы сухие, спутанные черные волосы лезли из-под ушанки на глаза. На вид ему было лет двадцать пять, не больше.

Приймак глянул на градусник и встал.

— Тридцать восемь и пять. Пусть полежит пока... После посмотрим.

Боец тоже встал, придерживаясь рукой за койку.

— Давно заболел? — спросил я.

— С утра...

— А чем кормили?

— Горох... Консервы...

— А раньше болел?

— Да как сказать... Не очень.

Отвечал он односложно, тихим, глухим голосом, не глядя на нас.

— Что же на том берегу не сказал, что болен? — спросил Приймак.

Боец поднял глаза — черные, усталые, лишенные веселого блеска глаза ничем не интересовавшегося человека,— но ничего не сказал.

— Симулянт, одно слово,— пробурчал Терентьев, сгребая остатки сахару со стола в консервную банку.— Набил градусник, и все...

Приймак цыкнул на Терентьева:

— Много понимаешь ты в медицине,— и повернулся ко мне: — Консервы. Факт, что консервы... Пускай полежит денек...

Но Лютиков — так звали этого бойца — пролежал не денек, а целую неделю. Первые два дня лежал у меня — в блиндаж моих саперов угодила мина, и пришлось его чинить,— лежал молча, подложив мешок под голову и укрывшись до подбородка шинелью. Смотрел не мигая в потолок черными усталыми глазами. Почти не говорил, ничего не просил, не жаловался. Раза три, обычно после еды, его тошнило, и Терентьев, убирая за ним, безумолку ворчал и швырялся предметами. Потом Лютиков перешел во взводный блиндаж, и за иными делами я совсем забыл о его существовании. Напомнил мне о нем Черемных, наиболее грамотный из моих бойцов, исполнявший обязанности замполита.

— Отправили бы вы, товарищ старший лейтенант, куда-нибудь этого самого Лютикова. Работать не работает, и пользы от него никакой...

Помкомвзвода написал направление в госпиталь, но тут как раз подвернулась какая-то срочная работа, и Лютикова оставили сторожить блиндаж.

Прошло еще несколько дней. Во взводе у меня выбыло сразу три человека и осталось четыре, вместе с помкомвзводом. Командир взвода

две недели уже как лежал в медсанбате. А работы как раз подвалило. Немцы разбили НП, и в одну ночь надо было его восстановить. Помкомвзвода, усатый, деловитый и сверхъестественно спокойный Казаковцев, пришел ко мне и говорит:

— Разрешите Лютикова на ночь взять. Майор велел в три наката НП делать и рельсами покрыть. Боюсь, не управимся.

— А он что, выздоровел?

— А бог его знает. Молчит все. Курить, правда, сегодня попросил. А раньше не курил. И обедать вставал.

— Что же, попробуйте.

Под утро я пошел посмотреть, как идут дела. Бойцы кончили укладку наката и засыпали его снегом. Казаковцев потирал руки:

— Управились-таки, товарищ инженер. В самый раз, в обрез. Через час уже светать будет.

Я спросил, как Лютиков. Казаковцев поморщился:

— Никак. Возьмет бревно, полсотни метров протащит и как паровоз дышит.

— Завтра же в санчасть отправьте.

На обратном пути мы зашли на КП третьего батальона — начался утренний обстрел. Решили пересидеть.

Комбат три Никитин — здоровенный, краснолицый, в кубанке набекрень — распекал своего начальника штаба:

— Третий раз уже приказ приходит. Третий раз, понимаете? А ты хоть бы хны... Начальник штаба называется. Адъютант старший... Бумажки все пишешь, донесения... А думать кто будет? Я? Замполит? У нас и так работы хватает.

Начальник штаба — сутулый, длиннолицый, с красными от бессонницы глазами — молча сидел и рисовал какие-то крестики на полях газеты.

— Ты понимаешь, инженер, третий раз приказ приходит — пушку эту чертову подорвать. Под мостом. А он и в ус не дует... Бумажки все пишет. Я целый день на передовой. Крутиков тоже. А он сидит себе в тепле да по телефону только: «Обстановочку, обстановочку». Вот тебе и обстановочка... Дохнуть не дает пушка окаянная...

Пушка, о которой говорил Никитин, давно уже не давала ему покоя. Немцы втащили ее в бетонную трубу под железнодорожной насыпью и днем и ночью секли никитинский батальон с фланга. Подавить ее никак не удавалось — боеприпасов в полку было в обрез, а десяток выпущенных по ней снарядов не причинил ей никакого вреда. Сейчас Никитин вернулся от командира полка после основательной головомойки и не знал, на ком сорвать злость.

Никитин набросился на меня:

— Тоже инженер называется... В газетах про вас, саперов, всякие чудеса пишут — и то взорвали, и то подорвали, а на деле что? Землянки начальству копаете.

Он встал, выругался и зашагал по блиндажу.

— Набрал себе здоровых хлопцев и трясется над ними... Снимут три-четыре мины — и сейчас же домой.

Он остановился, сдвинул кубанку с одного уха на другое.

— Ну, ей-богу же, инженер... Помоги чем-нибудь. Вот тут вот сидит у меня эта пушка.— Он хлопнул себя по шее.— Долбает, долбает — спасу нет. Снарядов не хватает, подавить нечем... Взорви ее, сволочь проклятую. Ты же сапер. Дохнуть ведь не дает. Честное слово...

В голосе его прозвучали жалобные нотки.

— У меня всего три человека — сам видишь. Пропадут — что я делать буду? Ты же мне не пополнишь...

— Ну одного, одного только человека дай. А помощников я уж своих выделю. Общее же дело, не мое, не личное.

— Где я тебе этого одного достану? Трех вчера потерял. Куница в медсанбате, сам знаешь.

— А эти? — Он подбородком кивнул в сторону угла, где сидели и курили саперы.

— Эти мне самому нужны. Один — минер, другой — плотник, третий — печник... Вот и все...

— А четвертый? Связной, что ли?

— Не связной, а так... Консервами отравился.

— Знаем мы эти консервы...— и, повернувшись к саперам, громко спросил: — Кто объелся, сознавайся?

Лютиков встал.

— Подойди, не бойся.

Лютиков подошел. Нескладный, неестественно толстый от надетой поверх фуфайки шинели, он стоял перед Никитиным, расставив тонкие, до самых колен обмотанные ноги, и ковырял лопатой землю между ног.

— Что же у тебя болит? А?

Лютиков недоверчиво посмотрел на комбата, точно не понимая, чего от него хотят, и тихо сказал:

— Нутро.

— Так и знал, что нутро. Всегда у вас нутро, когда воевать не хотите.

Лютиков, подняв голову, внимательно, не мигая, посмотрел на Никитина, пожевал губами, но ничего не сказал.

— Ну, а пушку подорвать можешь?

— Какую пушку? — не понял Лютиков.

— Немецкую, конечно. Не нашу же...

— А где она?

— Ты мне скажи, можешь или нет. Чего я зря объяснять буду.

— Ладно,— перебил я Никитина.— Хватит жилы тянуть из человека. Поправится, тогда... Да он к тому же и не сапер. А если тебе действительно саперы нужны, я могу через дивинженера взвод дивизионных сапер вызвать.

— Ты мне еще из Москвы сапер выпиши... Ну тебя...

Я встал.

— Казаковцев, поднимай людей.

Саперы зашевелились.

Лютиков стоял и ковырял землю лопатой.

— Давай, Лютиков,— крикнул Казаковцев,— без нас тут справятся...

Лютиков взял свой мешок и, согнувшись, вылез из землянки. На дворе светало. Надо было торопиться.

Я совсем уже было заснул, закрывшись с головой шинелью, когда услышал, что в дверь кто-то стучится.

— Кто там?— буркнул из своего угла Терентьев.

— Старший лейтенант спят уже?— раздалось из-за двери.

— Спят.

— Кто это?— высунул я голову из-под шинели.

— Да все этот... Лютиков.

— Чего ему надо, спроси.

Но Терентьев не расслышал меня или сделал вид, что не расслышал.

— Спят старший лейтенант... Понятно? Утром придешь. Не горит.

Я смертельно хотел спать, поэтому, разделив мнение Терентьева, повернулся на другой бок и заснул.

Утром, за завтраком, Терентьев сообщил мне, что Лютиков раза три уже приходил, спрашивал, не проснулся ли я.

— Позови-ка его.

Терентьев вышел. Через минуту он вернулся с Лютиковым.

— В чем дело, рассказывай.

Лютиков замялся, неловко козырнул.

— Я насчет этой...— с трудом выдавил он из себя,— пушки той...

— Какой пушки?

— Что комбат давеча говорил...

— Ну?

— Подорвать, говорил комбат, ее надо.

— Надо. Дальше?

— Ну, вот я и того... решил, значит...

— Подорвать, что ли? Так я тебя понял?

— Так...— еле слышно ответил Лютиков, не подымая головы.

— Но ты и тола-то еще не видел, зажигательной трубки. А еще туда же, взрывать!

— Это ничего, товарищ старший лейтенант, что не видал,— в голосе его послышался упрек.— Обидел он меня сильно.

— Кто обидел?

— Комбат Никитин. Все вы, говорит, на нутро жалуетесь, когда воевать не хотите.

Я рассмеялся:

— Чепуха, Лютиков. Это он так брякнул, для смеху. Все мы знаем, что ты действительно нездоров. Сегодня в санроту пойдешь. Скажи Казаковцеву, у него направление есть. Ступай полечись.

Лютиков ничего не сказал, только посмотрел на меня исподлобья, неловко повернулся, споткнувшись о валявшиеся на полу дрова, и вышел.

Целый день я пробыл в саперном батальоне на инструктивных занятиях. Вернулся поздно. В дверях штабной землянки столкнулся с Казаковцевым.

— Чего ты здесь?

— Трубы майору чинил. Печка дымит.

— Исправил?

— А как же.

— Меня майор не спрашивал?

— Спрашивать не спрашивал, но там как раз комбат Никитин. Вас ругает, что пушку не хотите подорвать.

— Пусть говорит. Лютикова отправили?

Казаковцев только рукой махнул:

— Его отправишь! Выздоровел, говорит, я уже. Совсем выздоровел.

— Вот еще несчастье на нашу голову!

— Я его и так и этак — ни в какую.

— Бойцы в расположении или на задании?

— Во втором батальоне, колья заготовляют.

— Вернутся — пошлешь двоих с ним в санчасть. Пусть там решают, выздоровел он или нет. Ясно? Надоела мне эта канитель.

Разговор на этом кончился. Я постучался и вошел к майору. Он сидел на кровати в нижней рубашке и разговаривал с Никитиным.

— Вот, жалуется на тебя комбат, — сказал он, показав мне кивком на табуретку — садись, мол.— Пушку подорвать, говорит, не хочешь.

— Не не хочу, а не могу, товарищ майор.

— Почему?

— Людей нет.

— Сколько их у тебя?

— Трое и помкомвзвод.

Майор почесал голую грудь и вздохнул:

— Маловато, конечно.

— Не три у него, а четыре,— резко сказал Никитин, не глядя на меня.

— Четвертый не сапер, товарищ майор.

Майор искоса посмотрел на меня.

— А тут твой помкомвзвод усатый говорил, что этот самый «не сапер» сам предлагал пушку подорвать. Так или не так?

— Так, товарищ майор.

— Почему не докладываешь? А? — и вдруг разозлился. — Надо подорвать пушку, и все! Понял? А ну, зови его сюда. Скажи часовому.

Минут через пять явился Лютиков. Майор оглядел его с ног до головы и сразу как-то скис. У него была слабость к лихим солдатам — поэтому он и Никитина любил, всегда перетянутого бесконечным количеством ремешков, горластого задиру, — а тут перед ним стоял неуклюжий, вялый Лютиков со съехавшим на бок ремнем и развязавшейся внизу обмоткой.

Майор встал, пристегнул подтяжки и подошел к Лютикову:

— Вид почему такой? Обмотки болтаются, ремень на боку, щетина на щеках.

Лютиков густо покраснел. Наклонился, чтобы поправить обмотку.

— Дома поправишь, — сказал майор. — А ну-ка, посмотри на меня.

Лютиков выпрямился и посмотрел на майора.

— Я слыхал, что пушку берешься подорвать? Правда?

— Правда, — совершенно спокойно ответил Лютиков, не отрывая своих глаз от глаз майора.

— А вот старший лейтенант, инженер, говорит, что ты саперного дела не знаешь.

Лютиков чуть-чуть, уголками губ, улыбнулся. Это была первая улыбка, которую я видел на его лице.

— Плохо, конечно. Но пушку подорву.

Даже Никитин засмеялся:

— Силен мужик...

— Ну, а ползать умеешь? По-пластунски? — спросил майор.

Лютиков опять кивнул головой.

Вечером мы вместе с Лютиковым вязали заряды. Три заряда по десять четырехсотграммовых толовых шашек в каждом. От пушки ничего не должно было остаться. Показал ему, как делается зажигательная трубка, как всовывается капсюль в заряд, как зажигается бикфордов шнур. Лютиков внимательно следил за всеми моими движениями. В овраге мы подорвали одну шашку, и я видел, как у него дрожали пальцы, когда он зажигал шнур.

Он даже осунулся за эти несколько часов.

В два часа ночи Терентьев разбудил меня и сказал, что луна уже зашла и Лютиков, мол, собирается, заряды в мешок укладывает.

Я всунул ноги в валенки, надел фуфайку и вышел во двор. Лютиков ждал у входа с мешком за плечами.

— Готов?

— Готов.

Мы пошли. Ночь была темная, снег растаял, и за три шага ничего не было видно. Лютиков шел молча, взвалив мешок на спину. При каждой

пролетавшей мине нагибался. Иногда садился на корточки, если очень уж близко разрывалась.

Никитин ждал нас на своем КП.

— Водки дать? — с места в карьер спросил он Лютикова, протягивая руку за фляжкой.

— Не надо, — ответил Лютиков и спросил, кто покажет ему, где пушка.

— И нетерпелив же ты, дружок, — засмеялся Никитин. — Народ перед заданием обычно штук десять папирос выкурит, а ты вот какой... непоседа...

Лютиков, как всегда, ничего не ответил, наклонился над своим мешком, потом попросил веревку, чтобы обмотать его.

— Ты дырку в мешке сделай, — сказал я, — и щепочку вставь. А на месте уже трубку вставишь.

Лютиков отколупнул от полена щепочку, обтесал ее, вставил сквозь мешковину в отверстие шашки. Потом снял шинель, сложил ее аккуратно и положил около печки. Надел маскхалат. Зажигательную трубку свернул в кружок и положил в левый карман. Запасную — в правый. Проверил, хорошо ли зажигаются спички, сунул в карман брюк. Делал он все медленно и молча. Лицо его было бледно.

В блиндаже было тихо. Даже связисты умолкли. Никитин сидел и сосредоточенно, затяжка за затяжкой, докуривал цигарку. За обшивкой звенел сверчок — мирно и уютно, как будто и войны не было.

— Ну что, пошли? — спросил Лютиков.

— Пошли.

Мы вышли — я, Никитин и Лютиков. Шел мелкий снежок. Где-то очень испуганно фыркнул пулемет и умолк.

Мы прошли седьмую, восьмую роты, пересекли насыпь. Миновали железнодорожную будку. Лютиков шел сзади с мешком и все время отставал. Ему было тяжело. Я предложил помочь. Он отказался.

Дошли до самого левого фланга девятой роты и остановились.

— Здесь, — сказал Никитин.

Лютиков скинул мешок.

Впереди ровной белой грядкой тянулась насыпь. В одном месте что-то темнело. Это и была пушка. До нее было метров пятьдесят — семьдесят.

— Смотри внимательно, — сказал я Лютикову, — сейчас она выстрелит.

Но пушка не стреляла.

— Вот сволочи, — выругался Никитин, и в этот самый момент из темного места под насыпью вырвалось пламя. Трассирующий снаряд описал молниеносную плавную дугу и разорвался где-то между седьмой и восьмой ротами.

— Видал, где?

Лютиков пощупал рукой бруствер, надел рукавицы, взвалил мешок на плечи и молча вылез из окопа.

— Ни пуха, ни пера,— сказал Никитин.

Я ничего не сказал. В такие минуты трудно найти подходящие слова.

Некоторое время ползущая фигура Лютикова еще была видна, потом слилась с общей белесой мутью.

— Хорошо, что ракет здесь не бросают,— сказал Никитин.

Пушка выстрелила еще раз. Потом еще два раза, почти подряд. Где-то неподалеку треснула одиночная мина.

Я посмотрел на часы. Прошло шесть минут. А казалось, что уже полчаса. Потом еще три, еще две...

Ослепительная вспышка озарила вдруг всю местность. Мы с Никитиным инстинктивно нагнулись. Сверху сыпались комья мерзлой земли.

— Молодчина! — сказал Никитин.

Я ничего не ответил. Меня распирало что-то изнутри.

Немцы открыли лихорадочный, беспорядочный огонь. Минут пятнадцать — двадцать длился он. Потом стих. Часы показывали половину четвертого.

Мы выглянули из-за бруствера. Ничего не видно. Бело и мутно. Опять сели на корточки.

— Погиб, вероятно,— вздохнул Никитин. Он встал и облокотился о бруствер.— А пушка-то молчит. Ничего не видно...

Я тоже встал — от сидения замерзли ноги.

— А ну-ка, посмотри, инженер,— толкнул меня в бок Никитин.— Не он ли?

Я посмотрел. На снегу между нами и немцами действительно что-то виднелось. Раньше его не было. Никитин оглянулся по сторонам и решительно полез через бруствер.

Лютиков лежал метрах в двадцати от нашего окопа, уткнувшись лицом в снег. Одна рука протянута была вперед, другая прижата к груди... Шапки на нем не было. Рукавиц тоже. Запасная зажигательная трубка выпала из кармана и валялась рядом.

Мы втащили его в окоп.

Лютиков умер. Три малюсеньких осколка, крохотные, как сахарные песчинки (я видел их потом в медсанбате), попали ему в брюшину. Ему сделали операцию, но осколки вызвали перитонит, и на третий день он умер.

За день до его смерти я был у него. Он лежал бледный и худой, укрытый одеялом и шинелью до самого подбородка. Глаза его были закрыты. Но он не спал. Когда я подошел к его койке, он открыл глаза и слегка испуганно посмотрел на меня:

— Ну?..

В голосе его чувствовалась тревога, и в черных глазах мелькнуло что-то, чего я раньше не замечал, какая-то острая, сверлящая мысль.

— Все в порядке! — нарочито бодро и всеми силами стараясь скрыть фальшь этой бодрости, сказал я. — Подлечишься мало-мало — и обратно к нам.

— Нет, я не об этом...

— А о чем же?

— Пушка... Пушка как?

В этих трех словах было столько волнения, столько тревоги, столько боязни, что я отвечу не то, о чем он все эти дни думал, что, если б он даже и не подорвал пушку, я б ему сказал, что подорвал. Но он подорвал-таки ее, и не только ее, а и часть железобетонной трубы, так что немцы ничего уже не могли установить там.

И я ему сказал об этом.

Он прерывисто вздохнул и улыбнулся. Это была вторая и последняя улыбка, которую я видел на его лице. Первая — тогда, у майора в землянке, вторая — сейчас. И хотя они обе почти совсем не отличались одна от другой — чуть-чуть только приподнимались уголки губ, — в этой улыбке было столько счастья, столько... Я не выдержал и отвернулся.

Через несколько дней немцы оставили Мамаев курган. Их загнали за овраг Долгий.

Мы похоронили Лютикова около той самой железобетонной трубы, где он был смертельно ранен. Вместо памятника поставили взорванную им немецкую пушку, вернее остатки искореженного лафета, и приклеили маленькую фотографическую карточку, найденную у Лютикова в бумажнике...

В день ранения я составил на Лютикова наградной материал. Награда пришла месяца два спустя, когда нас перебросили уже на Украину.

У Лютикова не было семьи, он был совершенно одинок. Орден его, боевой орден Красного Знамени, до сих пор хранится в полку.

ПЕРЕПРАВА

Дивизия наша подошла к селу Кашперовка уже под вечер. Разведка донесла, что немцы сидят на том берегу Южного Буга, но почему-то молчат и что ни мостов, ни каких-либо других переправочных средств в этом районе не обнаружено.

Майор, командир саперного батальона, — я был тогда заместителем по строевой — вызвал меня к себе и, как всегда перед заданием, ворчливо-недовольным тоном сказал:

— Фриц не знает, что мы вышли к реке, поэтому, очевидно, и молчит. Надо, значит, воспользоваться этим делом и за ночь организовать переправу. Нет — не за ночь, за полночи. Понимаешь, почему? Чтоб пе-

хота до рассвета успела переправиться (это была его манера — задавать вопросы и самому на них отвечать). Комдив так и сказал Сергееву — чтоб полк его до шести утра был уже на той стороне, с пушками и со всем прочим. А саперов у Сергеева, сам знаешь,— три калеки. Вот и придется нам отдуваться. Займись-ка этим делом.

Я пошел во вторую роту. Народу в ней было человек двадцать — в основном плотники,— за командира же орудовал временно Савчук, расторопный и страшно хитрый старший сержант — одессит. Командира роты ранило на Ингуле, и он трясся где-то позади на медсанбатовских подводах.

— Бери роту и двигай на берег,— сказал я Савчуку.— Я поужинаю и через полчасика приду к вам. Разведай пока берег, заготовь телеграфные столбы для плота — там их на шоссе видал сколько... В общем, подготовь все, а я приду, и тогда начнем. К трем кончишь?

— Зачем к трем? К двум кончим. Трос у нас есть, инструмент наточен. Под пушки, что ли, плот делать?

— Под пушки. Полковые.

— Ясно.

Савчук щелкнул каблуками — парень он был фасонистый, из кадровичков, и делал это всегда с истинным кадровым блеском — и побежал к роте.

С ужином я задержался, потом плутал в темноте по незнакомым улицам, угодил в какое-то болото — короче, на переправу попал часам к девяти. Особенно я не беспокоился — Савчук парень толковый, энергичный, наверное, все уже заготовил и сидит где-нибудь в халупе, дожидается меня...

Но получилось не так. Не дошел я каких-нибудь пятисот метров до условленного места, как понял, что на берегу творится что-то неладное. Крики, ругань, безалаберщина... Что за черт! У Савчука обычно все тихо, чин чином. Я нарочно даже велел Крысаку, командиру взвода,— Савчук с ним часто сцеплялся — остаться в расположении и в минном хозяйстве разобраться. А тут... Ничего не пойму. Тьма непроглядная. За два шага ничего не видать. Кричат, ругаются...

— Савчук! Где ты?

— Это вы, товарищ капитан? — слышу его голос, совсем уже охрипший.— Скобы наши поперли все...

— Кто попер?

— А черт его знает. Принесло сюда еще каких-то. Армейские, что ли? Говорят, что это их место. Тоже плот делают. Я уже трос стал натягивать, а там какой-то — майор, что ли,— ругается, пистолетом размахивает... Вы б с ним...

— А где он?

— Да вон там — разоряется. Слышите? Два столба у нас стащили. А теперь вот скобы...

— Кто тут старший? — спрашиваю кого-то большого, громоздкого, в шуршащей плащ-палатке.

— Я. А вы кто такой?

— Комендант переправы,— вру я.

— Чепуха! Комендант — я.

— Ладно... Забирайте своих бойцов и не мешайте работать.

— Кому? Вам? Мне это нравится! Кто вы такой? Командующий армией, что ли?

— Кто бы я ни был. Это вас не касается. Освободите берег и верните скобы, которые у нас взяли.

— Я? У вас? Скобы? Спятили, ей-богу... Это ваши бойцы три топора у нас свистнули...

— Нужны нам ваши топоры... — вмешивается Савчук. — Своих будто не имеем... Вы лучше скобы отдайте. Я их сразу узнаю.

— Ори, ори побольше,— вступился еще кто-то, из того уже лагеря.— Фриц услышит, даст дрозда, тогда не только скобы побросаете.

— Вам не оставим, не беспокойся...

Поругались мы так еще минут пять или десять и ни к чему, конечно, не пришли. Единственная польза, что Савчук, воспользовавшись ссорой начальства, захватил берег в самом узком месте реки и стал забивать колья для троса.

Стало тише. Майоровы бойцы подвинулись немного вправо. В темноте трудно было разобрать, где наши, где его, и только редкие уже вспышки ругани показывали, где проходит между нами линия «фронта».

Я сел на бревно и закурил. Река в этом месте была неширокая, но извилистая, с множеством рукавов. Немцы сидели на высоком правом берегу, километрах в полутора от нас, и время от времени бросали ракеты. Но нам они не мешали. Стрельбы ни с нашей, ни с немецкой стороны не было никакой.

Минут двадцать все шло спокойно. Вдруг слышу опять голос майора:

— Где этот... начальник ихний?

— Чего вам еще надо? — спрашиваю.

Майор подходит. Задыхается от бешенства:

— Если вы сейчас же не уберетесь отсюда, я вынужден буду...

— Что?

— Выкину вас отсюда. Силой.

— Попробуйте.

— Отдайте лодку! Сейчас же отдайте лодку! Или я... — Он заковыристо выругался и, мне показалось, полез в кобуру.

— Какую лодку?

— Что вы дурачком прикидываетесь? Лодку, которой... Мы трос на ней тянули, а ваши... Она стояла здесь, на берегу. В общем... Я — майор, командир батальона, и приказываю...

— Я тоже майор, и тоже командир батальона.

— Короче, отдадите лодку или нет?
— Никакой лодки я не знаю.
— Значит, не отдадите?
— Оглохли, что ли?
— Хорошо.— Голос его принял угрожающе-ледяной тон.— В три часа здесь будет генерал Мякишев, я думаю, вы его знаете...
— Знаю,— ответил я. Мякишев был начальником инженерных войск армии.
— Вот тогда посмотрите. Доложу ему.
— Ладно, не пугайте. Пуганые...
К двум часам ночи плот был готов — добротный, большой, с перилами и даже настилом. А те все еще возились. Савчук натянул трос, великодушно отдал лодку соседям, и теперь было слышно, как ругаются на том берегу майоровы бойцы, забивая колья.
— Ну что — домой двинем? — подошел и сел рядом со мной Савчук.— Слово сдержал, как видите. К двум кончил — впритирочку.
— Все?
— Все.
— И пристань кончил?
— А как же.— Он вздохнул.— Не представляю только, как это две дивизии сразу грузиться будут. Мостик от мостика — метров десять, не больше. Переругаются, вот увидите. Как мы с этим майором.
— Придется тебе посидеть здесь с бойцами,— сказал я,— пока пехота не придет. А то растаскают. А я пойду в штаб, доложу.
Проходя мимо майора, я не удержался и съязвил:
— Привет генералу. И не засиживайтесь особенно — светать скоро будет.
Майор только буркнул в ответ, что где-то в каком-то месте еще поговорит со мной, но мне было наплевать — работа сделана, а впереди еще полночи, можно и заснуть, чего еще надо. Ноги у меня замерзли, аппетит разыгрался, и я не пошел, а побежал к штабу.
Только стал подыматься по крутой уличке, ведущей к нашему расположению, как налетел на меня отряд всадников.
— Кто идет? — осветил меня кто-то фонариком.— Сапер, что ли?
— Сапер, товарищ генерал.— Я узнал голос Мякишева.
— Переправу сделал?
— Сделал, товарищ генерал.
— А ну пойдем, покажешь.
Генерал грузно слез с лошади и кинул поводья ординарцу:
— Здесь подождешь.
На переправе генерал зажег фонарик, прикрыв его рукой, и попробовал ногой настил.
— Выдержит?
— Выдержит.
— Ну смотри же, не перекупай мне пушки.

— Товарищ генерал! Это не наш...— подскочил вдруг майор.— Наш вот, правее...

Белый луч фонаря осветил круглое и потное лицо майора со съехавшей на затылок пилоткой и...— ах ты, сукин сын! — погоны старшего лейтенанта.

— Вот сюда, товарищ генерал. Только настил осталось. А там уже...

— Ничего не понимаю.— Генерал осветил фонариком соседний плот.— Что значит «наш»? А это чей?

— Мой,— ответил я.

— А ты кто такой?

Я отрекомендовался.

— А ты?

Старший лейтенант стоял и растерянно смотрел то на генерала, то на меня.

— Оглох, что ли?

Старший лейтенант вытянулся:

— Командир роты армейского саперного батальона старший лейтенант Костриков.

— Чего ж глазами хлопаешь?

— А... Тут, товарищ генерал, недоразумение какое-то, сам не пойму.

— Какое недоразумение?

— А мне, видите ли, товарищ генерал, приказано было переправу сделать... Для ихней, теперь оказывается, дивизии... Ну, и мы сделали, и они сделали...

— Две, значит, переправы сделали?

— Выходит, что две.

— И ты что ж, огорчен?

— Не то что огорчен, но, видите ли, товарищ генерал... Мы с ним,— он указал на меня,— поругались даже по этому поводу. А теперь...

— Что теперь?

— Теперь ему ж и сдавать надо.

Генерал хлопнул его слегка по плечу нагайкой:

— Эх вы, саперщики. Горе мне с вами. Нажимай-ка там со своим настилом. А то полки подойдут — не завидую тогда тебе.

Со стороны Кашперовки доносилось уже бряцание котелков, лопаток, сдержанно ржали артиллерийские и обозные лошади.

Месяца через четыре, летом уже, мы попали с этим самым Костриковым в один и тот же госпиталь — недалеко от Люблина, в Лущуве.

Оба мы были ранены в руку, лежали в одной палате и даже койки свои поставили рядом.

— Ну сознайся,— спросил он меня как-то,— дело уже прошлое, лодку мою вы сперли тогда?

— Мы,— сознался я,— а вы скобы...

Он расхохотался.

— А ты знаешь, что стащили-то мы их только после того, как твой сержант, или кто это у тебя там был, начал скандалить. Мы и не подозревали, что они у вас есть. А он выдал. Я разозлился и велел весь берег обыскать, но скобы у тебя стащить...

Между прочим, я до сих пор не знаю, почему получилось так, что оба наши батальона послали на одну и ту же работу. Но так или иначе, а полк тогда переправился вместо четырех за два с половиной часа.

ПОСВЯЩАЕТСЯ ХЕМИНГУЭЮ

В Сталинграде, в первом батальоне нашего полка, был знаменитый связист. Фамилии его я уже не помню, или, вернее, просто не знал, звали же Лешкой — это помню твердо. Маленький, худенький, с тоненькой детской шейкой, вылезающей из непомерно широкого воротника шинели, он казался совсем ребенком, хотя было ему лет восемнадцать-девятнадцать, не меньше. Особую детскость ему придавали нежно-розовый, девичий цвет лица, совершенно непонятно как сохранившийся после многонедельного сидения под землей, и глаза — живые, выразительные, совсем не взрослые. Знаменит же он был тем, что много читал. Когда бы вы ни пришли на КП батальона, вы всегда могли застать его в своем углу, у аппарата, с трубкой и с глазами, устремленными в книжку. Наверху гудело, стреляло, рвалось (КП батальона находился в подвале мясокомбината), а он, поджав под себя ногу, листал книгу, время от времени отрываясь от нее, чтоб крикнуть: «Товарищ шестнадцатый, четвертый вызывает».

Знакомство наше произошло не сразу — во время третьего или четвертого моего посещения мясокомбината. В ту ночь он, как всегда, маленький, ссутулившийся, сидел в своем углу и кричал кому-то, что если через час не прибудет положенное количество «семечек» и «огурцов», то четырнадцатый сам пойдет ко второму и тогда шестому не сдобровать, а заодно и одиннадцатому. Когда он прекратил свои угрозы, я попросил его соединить меня с одной из рот. Он соединил, передал мне трубку, а сам уткнулся в книгу.

Я кончил разговаривать. Он попросил закурить. Долго скручивал цигарку, глядя сощуренными глазами на коптящее пламя гильзы, потом сказал:

— Пацан ведь, совсем пацан... А туда же со взрослыми...

Я не понял:

— Ты это о ком?

— Да о Петьке...

— Каком Петьке?

— Да о Ростове,— и скосил глаза в сторону книги,— не читали разве? «Война и мир» Эл Толстого... (Он так и сказал — Эл Толстого.)

Так началось наше знакомство.

Боец, читающий на передовой книгу,— сами понимаете, явление, не слишком часто встречающееся. И уже одно это должно было привлечь к нему внимание.

Сначала я думал, что он читает просто так, в минуты затишья, чтобы скоротать время. Оказалось, нет. Он обладал каким-то поразительным умением окунаться в книгу с головой, умением моментально переключаться со своих «огурцов» и «семечек» на смерть Пети Ростова или еще что-нибудь, никак не более близкое ему сейчас. Все прочитанное вызывало у него массу различных мыслей, рассуждений, вопросов, иногда просто ставивших меня в тупик.

Я, например, довольно долго пытался убедить его (после того, как он прочел «Изумруд» Куприна), что писатель вправе писать не только о людях, но и лошадях, и даже от их имени. Он не соглашался:

— Писатель пишет, а ты читаешь и должен верить ему. И веришь. А тут знаешь, что он все придумал, и тоже веришь. Разве можно так, товарищ лейтенант?

Я пытался доказывать, что можно и даже нужно, но он только пожимал плечами и, чтоб поставить точку в нашем споре (он вообще не любил споров, считая, очевидно, что чем-то обижает меня, не соглашаясь со мной), стал вызывать кого-то в трубку.

Мне очень нравились в Лешке его независимость, его желание иметь и отстаивать свой собственный взгляд на вещи, его сомнения, которые не всегда могли развеять даже такие авторитеты, как Куприн или Толстой,— о себе я уже не говорю. И всегда ему нужно было точно знать, для чего написан тот или иной рассказ,— он был чуть-чуть моралистом. И в то же время он чисто по-детски, эмоционально и непосредственно, переживал все, преподносимое ему книгами. Когда он прочитал «Попрыгунью», он долго не мог прийти в себя. По-моему, он даже всплакнул немного. Это, правда, не помешало ему тут же посетовать на Чехова, почему он так много места уделил «попрыгунье» и так мало такому хорошему, такому умному, такому замечательному Дымову. Ну хоть бы сказал, над чем он работал...

И все это происходило в каком-нибудь полукилометре от немцев, в подвале мясокомбината, всегда набитом людьми, усталыми, злыми, невыспавшимися, где лежали и стонали раненые, где умирали.

Сейчас, семнадцать лет спустя, я с какой-то особой завистью вспоминаю о Лешке, умевшем с такой легкостью абстрагироваться от всего окружающего. «Прочли ли вы то-то или то-то?» — спрашивают тебя. «Какое там... Времени нету... Давно собираюсь, да все как-то...» А он сидел себе, поджавши ногу, и читал.

Где-нибудь в сети обнаружится порыв — загнет страницу, побежит, починит, вернется и опять глаза в книгу. И в тяжелой нашей, скучной, однообразной фронтовой жизни Лешка стал для меня каким-то просветом, огоньком, на который я всегда с радостью забегал.

Не помню точно когда, кажется, в декабре, нас передислоцировали, передвинули правее, на северные скаты Мамаева кургана. Все мы ворчали — пришлось расставаться с привычными, знакомыми участками, обжитыми землянками. А Лешке к тому же пришлось расстаться и со своей «библиотекой». У него действительно была такая — в прошлом, очевидно, клубная, а сейчас никому не нужная, разбомбленная, заваленная кирпичом. Вот туда он и бегал, благо это было совсем рядом и с необстреливаемой стороны. Особой системой его чтение не отличалось. Читал все, что попадалось под руку. Толстой, Чехов (к сожалению, он нашел только один том), Александр Беляев, «Первый удар» Шпанова, какие-то старые журналы с оборванными обложками, а однажды я его застал за чтением Метерлинка, которого он хотя и прочел, но не очень одобрил — впрочем, он вообще не любил пьес. Делал ли он различие в том, что читал? Да, делал. Больше всего он любил трогательное и жалостливое, «чтоб за сердце щипало». Любил про детей, про животных (пожалуй, больше всего из прочитанного его потрясла «Муму»), не любил про любовь, про войну. К моему величайшему изумлению, более чем холодно отнесся к Жюлю Верну, которым мы в свое время все так увлекались. Кстати, до войны, вернее до Сталинграда, он почти, чтоб не сказать совсем, не читал. Родился и жил в деревне, недалеко от Саратова, кончил шесть классов...

Итак, нас передислоцировали. КП первого батальона перебазировался в бетонную трубу под железнодорожной насыпью, у самого подножия Мамаева кургана. Вот тут-то Лешка и затосковал.

— Неужто у вас ничего нет почитать, товарищ лейтенант? — спросил он меня на второй или третий день после новоселья, сидя у своего аппарата и с тоской перелистывая наставление по стрелковому делу.

В те дни, когда у Лешки была еще собственная «библиотека», у меня на старом месте было тоже что-то вроде этого — десятка два книг, притащенных бойцами из разных развалин. При передислокации большинство из них я оставил в наследство нашим «сменщикам», с собой же взял только четыре книги: «Фортификацию» Ушакова, «Укрепление местности» Гербановского, «Медного всадника» с иллюстрациями Александра Бенуа и томик Хемингуэя в темно-красной обложке — «Пятая колонна и первые тридцать восемь рассказов». К слову сказать, эту последнюю книгу я украл.

Существует мнение, что кража книг не является кражей. Я эту точку зрения не разделяю. На мой взгляд, кража остается кражей, что бы ни украл — серебряные ложки, бриллианты или книгу. Во всех случаях

это — преступление. И все-таки Хемингуэя я украл. Украл в штабе армии. Был там один ПНШ — очень начитанный, очкастый, длинноносый майор, в прошлом декан какого-то института, великий книжник. Когда я приходил в штаб по своим саперно-инженерным делам, он обязательно заводил со мной какую-нибудь «интеллигентную» беседу о литературе, шахматах или Художественном театре. В однообразие обычных, осточертевших уже разговоров о минных полях, лопатах, киркомотыгах или новом НП, который надо за одну ночь построить, беседы эти вносили какую-то свежую струю. Но все горе было в том, что майор в своих суждениях был так банален, так любил повторять чужие слова, что под конец мне он просто надоел со своим вечным «А! Друг мой, зодчий бога Марса» и нудными рассуждениями о музах, молчащих, когда грохочут пушки. Возможно, именно поэтому я и украл у него Хемингуэя. Майор куда-то вышел на минутку, я посмотрел на книгу, которой он только что хвастался («Всю войну с собой вожу, люблю в свободную от исполнения воинского долга минуту перечесть тот или другой рассказик. Большой, очень большой и своеобразный мастер»), сунул ее за пазуху и ушел. И бог его знает почему, но ни тогда, ни сейчас никаких угрызений совести не испытывал и не испытываю.

Когда я нес Лешке книгу, я невольно спрашивал себя, а поймет ли он этого писателя? Хемингуэй нелегок, не для всех, к тому же, когда я вручал книгу Лешке, выяснилось, что он не имеет ни малейшего представления о бое быков, без чего чтение доброй половины вещей Хемингуэя просто бессмысленно.

Очевидно, это была очень забавная сцена: сидят двое в крохотной землянке батальонного НП, в двух шагах от немцев (в эту ночь Лешка дежурил не на командном, как обычно, а на наблюдательном пункте), курят махорку и разговаривают о матадорах, бандерильеро, верониках и реболерах, о которых один ничего не знал, а другой хотя тоже немногим больше знал, но кое-что читал и видал в детстве картину «Кровь и песок» с участием Рудольфа Валентино.

Часа в два ночи я ушел. Была на редкость тихая, морозная, очень звездная ночь. Немец почти не стрелял, освещал только передний край ракетами, и домой, на берег, я возвращался спокойным шагом, ни разу не присев. И шагая по истерзанной снарядами и бомбами сталинградской земле, прислушиваясь к монотонному гулу ночных бомбардировщиков — наш или не наш? — и потом, засыпая в своей жарко натопленной землянке, я думал о том, что завтра, к семи ноль-ноль, нужно сдать схему инженерных сооружений обороны полка, которую, заболтавшись, не успел закончить, о том, как тесно на войне переплелось страшное и забавное, веселое и трагичное, думал о Лешке, возможно как раз в эту минуту читающем про мадридского шофера Иполито, не проснувшегося даже тогда, когда рядом с ним разорвался снаряд, о том, что, не будь Лешки, этот хемингуэевский очерк остался бы для меня только пре-

красно написанным очерком, а сейчас стал чем-то значительно большим и нужным.

В шесть часов меня разбудил Титков, мой связной,— надо было заканчивать схему.

— А парнишку-то вашего ранило,— подавая мне котелок с кашей, сказал он с тем обычным спокойствием, с каким говорил о смерти ближнего и о полученных на складе двух плитках шоколада.

— Какого парнишку?

— Да того, с первого батальона, что книжки читал... С полчаса как в медсанбат потащили...

В медсанбате (он был в десяти минутах ходу от нас) я застал Лешку приготовленным для эвакуации на левый берег. Ранен он был нетяжело, в руку и ногу осколками, но потерял очень много крови, пока дополз до КП батальона (он уже шел домой после дежурства), и требовалось переливание крови, возможное только в госпитальных условиях.

Он лежал на земле, на подстеленной плащ-палатке, очень бледный, потерявший свой девичий румянец, но с обычным для него живым блеском в глазах.

— Где же тебя кокнуло? — спросил я.

— Да там, около насыпи, где мостик, знаете? Ерунда,— он с натугой улыбнулся,— скоро вернусь. А книжка ваша...— Он скосил глаза, показывая, что она у него под головой.— Испортил немного, не сердитесь.

Оказалось, что она слегка испачкана кровью, десятка три страниц, по самому краешку.

— Ничего, это ее только украсит,— сказал я.— А прочесть успел что-нибудь?

— Очень мало. Мешали все. Капитан Коробков дежурил, а он каждую минуту: «Алло! Алло! Положение?» Три штуки только успел. Про шоферов мадридских, про старика, у которого два козла и кошка остались, и третий — про Пако, помните, как два парнишки в бой быков стали играть и Пако напоролся на нож?

— «Рог быка»?

— Ага, «Рог быка»...— Он мучительно наморщил брови.— Вот глупо получилось, а? Просто ужас... На два дюйма только... Сколько это дюйм?

— Два с половиной сантиметра.

— Значит, на пять сантиметров в сторону, и не попал бы ему в живот... Бывает же такое...— И, помолчав, добавил, глядя куда-то в сторону: — Жаль Пако, хороший парень был.

Больше нам не дали говорить. Подошел врач, и двое санитаров стали перекладывать его на носилки. Прощаясь, я протянул ему книжку:

— Чтоб не скучно в госпитале было.

Он, насколько мог, весело улыбнулся:

— Через неделю вернусь, вот увидите. И книгу верну, ей-богу, вы ж знаете меня...

Но больше я Лешку не видел. Обычная история — из госпиталя отправили в другую часть, и все. Война...

Жив ли Лешка? Хочется верить, что да. И что по-прежнему много читает. И тот томик прочел — тогда, в госпитале, или позже, после войны. Не думаю, чтоб Хемингуэй стал его любимым писателем, слишком у того много подспудного, недоговоренного, а Лешка любил ясность. Но, как это ни странно, в этих двух столь несхожих людях, старом прославленном писателе совсем из другого мира и мальчишке-солдате из-под Саратова, мне видится что-то общее. В Лешкином «жаль Пако, хороший был парень...», в этой фразе, сказанной через полчаса после того, как немецкий осколок, не отклонившись ни на дюйм, влип ему в руку, для меня звучит что-то по-настоящему мужественное, то самое, что заставило Хемингуэя полюбить своего мадридского шофера Иполито. Он сказал о нем: «Пусть кто хочет ставит на Франко, или Муссолини, или Гитлера. Я ставлю на Иполито».

И на Лешку, хочется добавить мне.

ТРИ ВСТРЕЧИ

Герой в книге и в жизни... Как много об этом уже написано — умного, интересного, поучительного. И все-таки, сколько бы ты ни прочел книг и статей на эту тему, разобраться по-настоящему в этом сложнейшем клубке взаимоотношений не удастся, пока не обратишься к тому, что испытал на собственном горбу, на собственных ребрах.

Прошло ровно пятнадцать лет с того дня, как я расстался с человеком, с которым дружил очень недолго — менее полугода, но память о котором сохранил на всю жизнь. Мы расстались — я хорошо помню этот день — 25 июля 1944 года в Люблине. Он пришел на следующий день после моего ранения в санчасть, где я лежал, и принес мне ложку, бритвенный прибор, зубную щетку, мыло и планшетку с документами. Звали его Валега.

Познакомились мы с ним в марте того же года, незадолго до того, как наши войска форсировали Южный Буг. По счастливой случайности я попал после госпиталя в саперный батальон той самой дивизии, в которой воевал еще в Сталинграде. Получил назначение замкомбатом по строевой, а Валегу мне дали в связные. Не могу сказать, чтоб он обрадовался этой новой должности. Присланный начальником штаба, он стоял передо мной, маленький, головастый, недоброжелательный, с глазами, устремленными в землю. Я вспомнил Котеленца, комбатовского орди-

нарца — озорного, хитроглазого, легконогого пройдоху — и невольно подумал: бирюк...

— Ну, так как, — сказал я, — пойдешь ко мне в связные?

— Как прикажете, — сумрачно ответил он.

— А хочешь?

— Нет.

— Не хочешь? — Я удивился. Обычно об этой должности «не бей лежачего» только мечтали.

— Нет, — повторил он и впервые поднял глаза, маленькие и очень серьезные.

— А почему?

— Так...

— Что значит — так?

Он пожал плечами и опять, только тише, повторил свое «так».

Я все понял. Ему, оборонявшему Сталинград солдату-саперу, казалось зазорным идти в услужение. Это решило вопрос. В тот же вечер он перетащил ко мне свой «сидор» и, узнав, что поручений никаких нет, сел у лампы и молча стал чистить автомат.

Мы провоевали с ним недолго, всего четыре месяца — апрель, май, июнь и неполный июль. Вместе прошли от Буга до Одессы, потом попали на Днестр, оттуда — в Польшу. Спали, ели, ходили на задания всегда вместе. Мы мало с ним разговаривали: он был молчалив и даже выпивши не становился болтливее. Иногда только чуть-чуть приоткроется — в душную ночь, когда не спится, или в лесу у полузатухшего костра, — заговорит вдруг об Алтае, об охоте на медведя, о чем-то очень далеком от войны, и слушать его неторопливую, основательную, чуть стариковскую речь было бесконечно интересно. Особенно мне, насквозь городскому человеку. И сразу становилось как-то спокойно и уютно. Вообще в нем было что-то, что невероятно притягивало к нему, — то ли невозмутимое спокойствие в любой обстановке, то ли умение всегда найти себе какое-то занятие, то ли желание всегда помочь, причем желание, исходившее не от его положения, а от его характера. Стремления услужить, чтоб угодить, в нем не было, просто он не мог спокойно видеть, как кто-нибудь в его присутствии делает что-нибудь плохо и неумело. Сам же он делал все хорошо, быстро и всегда с любовью.

Один только раз он оказался не на высоте — в течение часа варил в котелке трофейный кофе в зернах, а потом пришел и руками развел: «Ничего не понимаю, товарищ капитан... Варю, варю, а оно не разваривается...» Других неудач я не помню.

И еще одна черта. Подвернется минута свободная — от поручений, заданий, штопки, варки, земляночного благоустройства, — не ляжет спать, как положено заправскому солдату, а подойдет и спросит: «Разрешите к ребятам пойти?» И идет, и копает вместе с ними, строит какой-нибудь НП или КП. Моего общества ему, конечно же, было мало.

В день моего ранения он оставался в расположении батальона и только на следующее утро разыскал меня в санчасти. Явился насупленный и недовольный. По всему видно было, что он осуждает меня. Несмотря на разницу между нами в пятнадцать лет (ему было восемнадцать, мне тридцать три), он считал себя в чем-то старше и опытнее и сейчас ни минуты не сомневался, что, будь мы вместе, со мной ничего не случилось бы. И под осуждающим его взглядом я почувствовал себя виноватым.

Прощаясь, я очень хотел расцеловаться с ним, но он сантиментов не любил, пожал мне левую, здоровую руку и, сказав «Поправляйтесь!», ушел.

Больше я его не видал. Дивизия двинулась дальше, на Варшаву, а я, проболтавшись дней десять в Люблине, был эвакуирован в тыл, и воевать мне больше не пришлось.

Года через два я встретил одного из наших командиров и от него узнал, что Валега после моего ранения вернулся в роту, потом некоторое время работал поваром на кухне, а через месяц или полтора на Сандомирском плацдарме был легко ранен и отправлен в медсанбат. Дальнейшая его судьба мне неизвестна. Все попытки разыскать его ни к чему не привели. Верю, надеюсь, что он жив, но так ли это и где он, не знаю. Даже фотокарточки его у меня нет...

Счастье писателя — а я не сомневаюсь, что это настоящее большое счастье,— в том, что он может продолжить прервавшуюся по каким-либо причинам дружбу. Свою дружбу с Валегой я продолжил «В окопах Сталинграда».

На театральном языке есть термин «предлагаемые обстоятельства». Это значит, что тебе, актеру, предлагается представить себе и изобразить перед зрителем состояние и поведение своего героя в тех или иных обстоятельствах — в гостях, на толкучке, в кабинете знаменитого профессора или при встрече с грабителями.

Вся моя «вторая» дружба с Валегой в какой-то своей части была построена именно на подобных «предлагаемых обстоятельствах». Я не боюсь этого сухого слова «построена» — в этом «строительстве» Валега не утерял ни одной своей черты, не приобрел никакой новой, но присущие ему черты, попав на другую почву, как бы расцвели, окрепли. Мне же это «строительство» дало возможность возобновить свои встречи с Валегой, и были они всегда радостными, интересными и разнообразными.

О пределе власти писателя над своим героем писалось уже много. Она не безгранична. Она до поры до времени. И пользоваться ею надо очень осторожно. Герой не из воска, чего угодно из него не вылепишь, он по-своему живой, с мускулами, кровью, сердцем. И очень раним. Он не переносит насилия. И если уж он не полюбит писателя, то читатель и подавно. Кажется, чего уж проще — взял и перебросил своего героя,

как я, например, позволил себе сделать, из одного времени в другое, из Одессы в Сталинград: сиди на новом месте и делай, что тебе приказывают... Оказывается, нет. На фронте мне куда легче было приказать Валеге, чем в книге. В книге он мне мстил за всякое своеволие, и мстил правильно, умно. И спасибо ему за это.

В книге есть такой эпизод. Лейтенант Керженцев с двумя ротами оказывается окруженным на небольшой сопке. И вдруг совершенно неожиданно там появляется Валега, которого Керженцев с собой не взял. Явился с шинелью, банкой тушенки, без чьего-либо приказания, просто потому, что он считал, что так надо. Нечто подобное, правда, в несколько менее сложной обстановке, произошло на самом деле, только не в Сталинграде, а полгода спустя на Днестре — наша дивизия держала там «пятачок» на правом берегу реки. Я перенес этот случай в книгу. И все было бы чин чином, по всем правилам, Валега охотно пошел на уступки, перебрался с Днестра на Волгу; но дальше позволил себе поступать так, как он считал нужным.

На окруженной сопке пришла к концу вода. А она нужна всем — бойцам, раненым, пулеметам. В блиндаже идет разговор, где и как ее достать: кругом немцы, до Волги не добраться, ручьев никаких нет. И вот тут-то «книжный» Валега делает то, чего не мог не сделать настоящий Валега, окажись он в положении «книжного»,— тихонько, никому не сказав ни слова, идет на поиски воды. Это — самое главное. Он не мог поступить иначе. А дальше я ему помог — подкинул немецкий термос с вином. Мы оказались квиты.

Начинающий (да и не только начинающий) писатель часто пытается доказать правильность какой-нибудь сцены в своем произведении, ссылаясь на то, что «так было». «Ей-богу, уверяю вас, сам видел». Я читал в рукописи одну повесть, в которой бойцу во время атаки попала в живот мина. И не разорвалась. Он вырвал ее из живота и, добежав до немецких окопов, стал лупить ею немцев по головам. Автор с обезоруживающей искренностью пытался убедить меня, что он сам был свидетелем этого факта. Что можно было на это ответить?..

Нет, в искусстве, в литературе одним «так было» не обойдешься. Оно необходимо, оно основа любого реалистического произведения. Но чтоб произведение стало, кроме того, и художественным, нужно еще и другое — «этого не было, но если б было, то было бы именно так», или еще категоричнее — «не могло быть не так». В этом и заключается различие между романом, повестью, рассказом и записками, дневниками или документальной прозой. Жанры эти вовсе не исключают друг друга, более того — внешне они могут быть очень схожи. Но внутренняя их сущность, принципы воздействия на читателя различны. Кстати, не могу здесь не сказать, что самой большой похвалой для меня было, когда мою повесть называли записками офицера. Значит, мне удалось «обмануть» читателя, приблизить вымысел к достоверности. Это не страшный

«обман», за него не краснеют, без него не может существовать никакое искусство.

И вот тут-то «предлагаемые обстоятельства» играют первостепеннейшую роль. Они должны быть точны и предельно правдивы, иначе герой не сможет ими воспользоваться или начнет дубасить неразорвавшейся миной противника по голове. И эти же «предлагаемые обстоятельства», если они только взяты из жизни, помогут тебе, писателю, правильно понять, увидеть своего героя и повести его туда, куда он и сам охотно пойдет. Не надо только заставлять его ходить на голове и говорить чужие слова: у него есть свои, непридуманные и ничуть не хуже твоих — умей их только услышать и понять.

В окопах Сталинграда нашей дружбе с Валегой никто не мешал. Пиши сколько хочешь, подкидывай своему герою любые «предлагаемые обстоятельства» — он всегда с ними справится. И расстались мы с ним вторично в 1946 году в Москве, на улице Станиславского, 24, в журнале «Знамя», вполне удовлетворенные друг другом.

Прошло десять лет. Мы опять встретились. На этот раз в Ленинграде, на студии «Ленфильм». И опять подружились. И длилась эта дружба два года, но, не в пример первым двум, оказалась куда сложнее.

До самого того момента, как я получил телеграмму из студии с предложением написать сценарий, я был убежден и убеждал других — по-моему, достаточно доказательно, — что экранизацией, да еще собственного произведения, заниматься нельзя. Помилуйте, кроме «Чапаева», ни одного случая в мировой кинематографии, чтобы фильм оказался лучше романа. И вообще роман есть роман, повесть есть повесть, а кино есть кино. Для кино надо писать оригинальные сценарии. Точка! Кроме того, у меня было еще не менее десятка убедительнейших аргументов. И все это полетело прахом, как только передо мной замаячила перспектива новой встречи со Сталинградом.

Вряд ли нужно рассказывать о том, что испытывает человек, когда попадает в те места, где когда-то воевал. А если к тому же не просто один — повспоминать, поклониться могилам, — а с целой группой людей, приехавших сюда специально, чтобы восстановить прошлое. Я ходил по Мамаеву кургану, узнавал или не узнавал обвалившиеся окопы, заросшие травой ямы, которые были когда-то землянками, и не очень уверенно говорил: «А вот здесь был артиллерийский НП, а здесь батарея «сорокапяток» прямой наводки, а там вот стоял подорвавшийся танк, за который почти три месяца шла ожесточенная борьба». Я говорил и говорил, и порой мне казалось, что я уже наскучил своим спутникам, что они слушают меня только из вежливости. Но это было не так. Уже потом, во время съемок, я понял, как дороги и святы были эти места и события, на них развернувшиеся, людям, пришедшим сюда с кинокамерами и «юпитерами». Лучше всего эти чувства выразил молодой артист

Леша Быков, которого нам очень хотелось переманить к себе в картину из Харьковского театра русской драмы. «Мы были тогда еще пацанами,— говорил он директору театра,— и не могли защищать Сталинград. Разрешите хоть теперь, на экране, принять участие в его защите». Леша Быков так и не попал к нам в картину, но слова его стали у нас чем-то вроде девиза.

Когда-нибудь я напишу о «Солдатах», о коллективе, который их снимал, о самих съемках, о препятствиях, стоявших на нашем пути, и о том, как мы их преодолевали,— история картины, сложная и поучительная, стоит этого. Но об этом в другой раз. Сейчас же хочется сказать только одно: та достоверность, которой удалось достигнуть постановщику фильма Александру Иванову в «Солдатах», все эти незаметные на первый взгляд детали, фронтовые черточки, окопные мелочи, солдатские повадки и словечки — одним словом, все то, что и создает в картине жизнь,— во многом зависели от настоящей, неподдельной заинтересованности в успехе нашего дела, которая чувствовалась во всем коллективе и в каждом человеке в отдельности, включая даже солдат, снимавшихся в массовках. Спасибо им всем.

Но вернемся к сценарию и Валеге. На первый взгляд Валеге в сценарии совсем не повезло. Так ли это?

Начнем со сценария.

После какого-то там варианта стало ясно, что, слепо следуя книге, ты губишь и книгу, и будущий фильм. Кино не может всего переварить. У него свои законы, и законы очень суровые: сеанс полтора часа, картина 2700 метров, сценарий не больше восьмидесяти страниц на машинке. А в повести 250 страниц — 13 печатных листов. Что же делать? Выход один. На кинематографическом языке это называется делать «по мотивам». То есть та же мысль, те же основные события, те же основные герои, но не обязательно те же «предлагаемые обстоятельства». Короче говоря, ты делаешь некую «выжимку» из произведения, берешь из него самое существенное и лепишь нечто новое, рассчитанное уже не на читателя (режиссер и актеры не в счет), а на зрителя, у которого к тебе, писателю, совсем другие требования, чем у читателя. Не могу сказать, чтобы операция превращения книги в сценарий проходила легко. Автор всегда несколько переоценивает свой талант, поэтому расставание с отдельными сценами и героями воспринимает трагически. Только потом, когда картина уже закончена, он поймет, что в трех этих сакраментальных цифрах — 1½, 2700 и 80 — заключена большая правда. Именно они — эти три цифры — приучают его к лаконизму, динамике, к композиционной четкости, ясности «кусков», заставляют заменять бесконечные диалоги двумя-тремя фразами, а еще лучше — взглядами (о немое кино!) и тем самым, скажем прямо, дают возможность актеру не только говорить, но и играть, а режиссеру — ставить. Кстати, должен сказать, что все эти качества — лаконизм, динамика, четкость и тому подо-

бное — совсем неплохи и в прозе, поэтому работа писателя в кино — трудный, но очень полезный тренаж.

Но все это я понял, как и всякий начинающий автор, только после того, как увидел картину на экране. Когда же писал сценарий, мне казалось, что я преступно обкрадываю Валегу, но ничего поделать не мог — душил метраж. Более того, один из трех настоящих «Валегиных» эпизодов (остальные все «проходные») был честно взят из книги, другой начисто выдуман и только третий, единственный на всю картину, взят от «живого» Валеги. Я чувствовал себя перед ним бесконечно виноватым. Мне было стыдно.

И тут-то появилось третье лицо, которое, правда, не сразу, но постепенно, исподволь, восстановило наши былые добрые отношения. Этим лицом был Юра Соловьев, выпускник ВГИКа, которому поручена была роль Валеги.

Сейчас, когда все уже позади, могу прямо сказать — лучшего Валеги не сыскать. Но когда мы с Ивановым подбирали актеров, волнений было более чем достаточно. Перебрали около десятка человек и остановились наконец на Соловьеве. Он, правда, долго артачился: соглашался, отказывался, писал режиссеру длиннющие объяснительные письма, говорил, что роль не его плана, что он нас подведет, но в конце концов мы его все-таки скрепя сердце взяли, другого выхода не было, подпирала зимняя натура.

Как и все актеры, он, конечно же, считал, что роль ему бессовестно обкорнали, оставили одни рожки да ножки, и вообще в картине играть ему нечего. Я не очень убедительно пытался доказать ему, что дело не в размерах, не в количестве слов, но сам — чего греха таить! — в душе с ним соглашался.

Роль действительно маленькая. На десять частей в ней всего лишь семнадцать эпизодов. Из них в пяти Валега попросту молчит, в десяти говорит по два-три слова и только в двух, всего лишь в двух эпизодах имеет какой-то словесный материал. И вот — всем на удивление — оказалось, что этого вполне достаточно.

Есть актеры, которые играют легко и весело. В перерывах шутят, балагурят и только перед объективом кинокамеры собираются, входят в роль. Юра Соловьев не таков. Он без конца читал и перечитывал сценарий, книгу, ходил сумрачный, насупленный (как я потом узнал, это и было «вхождение в роль»), мучил костюмерш, подбирая гимнастерки и ботинки, обязательно большие, с загнутыми носами, как в книге, во время перерывов одолевал меня бесконечными вопросами и возникшими сомнениями. У него была специальная записная книжка, где он записывал «все о Валеге». Я видел ее. Мне было очень интересно ее читать. Он продолжил мою игру в «предлагаемые обстоятельства» и, должен признаться, удивительно метко попал в точку.

Вообще Соловьев — сейчас мне это уже абсолютно ясно — всей своей ролью попал в самое яблочко. Он поймал суть «живого» Валеги,

никогда его не видав. Он нашел и понял обаяние человека, который никогда не улыбается. А как это трудно! «Живой» Валега никогда не улыбался. Он не был сумрачен, он был серьезен, он всегда был занят, у него не было времени на улыбки. Соловьев на протяжении всего фильма ни разу не улыбается и все время занят каким-нибудь делом. Только в двух кадрах у него нет прямого занятия: в штабе, где они с Седых ждут решения своей участи, и в землянке, перед атакой, когда он слушает песенку Карнаухова. А так, если нет задания поважнее, стирает белье, что-то зашивает, мастерит. И все это молча. Но все слышит, все понимает, все знает наперед.

Он слушает в землянке песенку Карнаухова о фонарях. Через полчаса атака. Он слушает песенку, только глотнул один раз (что-то подступило к горлу, первое проявление чувства) и говорит — впервые фактически в фильме,— говорит о том, что, когда кончится война, он построит себе дом в лесу, он любит лес, и товарищ лейтенант приедет к нему туда на три недели... «Почему на три?» — «Вы больше не сможете, вы будете работать...»

Когда я смотрю этот кусок, у меня у самого подступает ком к горлу. Я вижу живого Валегу. Я до сих пор не могу понять, как на экране могли прозвучать эти не мечты о будущем, не приглашение в гости, а почти приказание — приказание живого Валеги, которое он мне отдал как-то ночью, в лесу под Ковелем: «И вы приедете ко мне на три недели...»

В другом эпизоде Валега отправляется на поиски воды. Взял пустой термос, вылез из окопа, обнаружил в овраге группу немцев, распивающих вино, неслышно заменил их термос с вином своим пустым (а как аккуратно, по-валеговски это сделано!), вернулся назад и как ни в чем не бывало принялся за прерванное занятие — штопку брюк. «Ты где болтался?» — спрашивает Керженцев. «Как где? Вы же сами сказали, что воды нет...» И потом, попробовав вина из кружки: «Дрянь! Как раз для пулеметов...» Две фразы на весь кусок. И в них весь Валега. Как и во всем куске. И это настолько убедительно, настолько точно, что минутами, глядя на экран, я думал: а может, и на самом деле это было?

И наконец, последний эпизод — в госпитале. Валега привез раненому Керженцеву письма и подарки с передовой — две бутылки коньяку. И опять я вижу живого Валегу, его насупленный, неодобрительный взгляд, когда Керженцев размахивает бутылкой и кричит на всю палату «Живем, хлопцы!», слышу его голос, его интонации в рассказе о немцах, сидящих в колечке: «Им с самолетов продукты сбрасывают, а мы... подбираем». Живой, живой... И в то же время свой собственный, «соловьевский».

На всю роль, по сути, три эпизода — каких-нибудь восемь — десять минут,— а перед тобой живой человек. Не иллюстрация к книге, а достоверный, осязаемый, хотя и на экране, и главное — думающий.

А как это важно в кино, да и вообще в искусстве — не только говорить, но и думать. И жить своей жизнью. Зрителю в конце концов со-

вершенно безразлично, похож ли экранный Валега на живого или нет, он увидел этого, экранного, и, поверив, полюбил — невзрачного, трогательного, порою забавного и никогда ничего не боящегося...

Много времени спустя Соловьев мне рассказывал, что его как-то пригласили на студию, чтобы сняться в роли Валеги для какого-то иллюстрированного журнала. «И вы знаете, — говорил он, — я даже заволновался. Разыскал ту самую гимнастерку, пилотку, телогрейку, штаны с собственной штопкой и, поверьте, надевал — и мне все казалось, будто я на самом деле в них воевал...»

Да, Юра и Валега по-настоящему сдружились. И их дружба еще больше укрепила мою.

Что же это за дружба такая, о которой я все время говорю? Не придумал ли я ее? А может, это вовсе и не дружба и слово это я использовал только для того, чтобы оправдать свое вольное обращение с человеком, которого считал и до сих пор считаю своим другом? И, возможно, прочитав книгу, посмотрев картину, а затем прочитав эти строки, он просто обидится на меня и скажет: «Вот они, писатели, что хочешь из тебя сделают, а ты терпи, молчи... И еще дружбой называют...»

Нет, не скажет он так.

Я пытаюсь сейчас восстановить в памяти эволюцию Валеги от живого, через книжного к кинематографическому и с тревогой обнаруживаю, что действительность и вымысел — иными словами, то, что было в самом деле, и то, что написано в книге и показано в кино, — как-то напластовавшись одно на другое, совместились и что мне необходимо определенное напряжение, чтобы установить четкую грань между ними. Получается нечто вроде того случая, когда человек много раз подряд рассказывает одну и ту же историю. Рассказ постепенно расцвечивается деталями, иногда для красного словца даже придуманными, в результате же, особенно если рассказу слушатели поверили, рассказчик сам начинает в них верить. Одним словом, нечто «хлестаковское».

Хорошо это или плохо?

Для свидетеля на суде, конечно, плохо. Для произведения искусства не плохо и не хорошо, это — естественно. Это не должно вызывать тревогу. В этом и заключается художественная правда. Та самая, которая, отталкиваясь от действительности, возвращается к ней же.

И вот тут-то я не могу не привести отрывок из письма Соловьева ко мне, отрывок, который, на мой взгляд, дает очень убедительный и точный ответ на все возникшие у меня вопросы.

В начале письма Соловьев пишет, как он мучился на первых порах, пытаясь «втиснуть себя» в написанного в книге и сценарии Валегу. Ничего не получалось.

«И вот тогда, — пишет Соловьев, — я стал искать другие ходы и приспособления к роли и в конце концов решил не «подражать» книжному Валеге, как пытался было делать вначале, а попробовать строить на осно-

ве вашего материала то, что у меня может получиться. Я стал чувствовать себя свободнее.

Теперь мне пригодилась и тяжеловатая, вразвалку, походка моего бати (у вас же — «мягкая, беззвучная походка охотника»), и чувствительные к вещам руки, оценивающий глаз, неторопливые, точные движения, стариковская хозяйственность и аккуратность во всем — моего деда (на это натолкнуло сходство Валеги со старичком — у вас же). Манерой разговора кино-Валега напоминает моего бывшего сокурсника Рыбакова, позднее ушедшего из института «изучать жизнь». А вечно обиженное, насупленное выражение лица почему-то взято и вовсе с незнакомого человека — шофера пострадавшей «Победы» в момент его объяснения с милицией.

Кое-что перепало Валеге и от меня лично. Мне, например, казалось, что ему должно быть свойственно чувство ревности, а этого, как вы знаете, у меня — хоть отбавляй! Пришлось вспомнить и то, как я еще во время войны, пацаном, нянчился со своими младшими сестрами (вы где-то упоминаете, что Валега следил за Керженцевым, как «хорошая нянька»). Много пришлось фантазировать, а ко многому просто привыкать — ведь фронта я даже не нюхал! Выручило и мое давнишнее увлечение рисованием — это помогло найти индивидуальность в костюме».

Так вот, оказывается, что получилось с Валегой. Он разросся, расширился, окреп. Работая «над ним» в книге, в сценарии, я шел от живого человека. Соловьев, работая над ролью, отталкивался от книжного образа и лепил свой собственный, живой, беря детали из жизни — от деда, отца, друга, шофера, самого себя. Кстати, мне очень нравится слово «отталкивался». В данном случае оно очень точно. Именно отталкиваться от образа, идти от него вовне, в мир, а не насильственно втискиваться в него, замыкаться. Вот это-то «отталкивание» и рождает художественную правду. Круг замкнулся — действительность вернулась к действительности.

Кого же из этих трех Валег я больше люблю? Живого ли, но чуть-чуть уже потерявшего четкость очертаний (а как хотелось бы их восстановить, встретившись с ним сейчас), или книжного, с которым нас сблизила совместная выдумка, или самого молодого, «соловьевского», где многое зависело уже не от меня? Кого же?

На этот вопрос нелегко ответить. Думаю, гадаю, а ответ все один — Валегу...

1959

P. S.

Прошло двадцать два года с тех пор, как мы расстались с Валегой в медсанбате на окраине Люблина. За это время успело уже новое поко-

ление вырасти, о войне знающее только по рассказам, книгам и фильмам, далеко не всегда достоверным. А старые фронтовые друзья? «Иных уж нет, а те далече». Те, с кем все же свела послевоенная судьба, как и я, постарели, поседели, а кто и полысел или валидольчик посасывает. А Валега?..

Валега смотрит на меня «соловьевскими» глазами с финальной групповой фотографии из фильма «Солдаты» — серьезный, собранный, аккуратный — рядом с Фарбером, Чумаком, Седых, санинструкторшей Люсей, и слышу я голос Керженцева — последние слова фильма: «Где вы сейчас? Живы ли вы, друзья? Я вглядываюсь в ваши лица и стараюсь представить, как выглядите вы сейчас. Подумать только — Валега, Седых,— ведь вам уже за тридцать, женились, детишки растут. И ходят они уже, вероятно, в школу и пишут каракулями на косых линейках — МИРУ — МИР! Счастливые, они не видели, не знают войны. Пусть же они ее никогда не узнают...»

И вот настал декабрь 1966 года. Я в Москве. Делаю сценарий для документального фильма о далекой Аргентине, в которой никогда не был.

Как-то возвращаюсь со студии, и мне сообщают: «Тебе звонили из Киева. Говорят, разыскивает тебя какой-то твой связной. Через милицию...»

Вот это да... У меня было два связных — Титков в Сталинграде, потом Валега. Кто же из них? Звоню в Киев... Да, звонили из I-го отделения милиции. Какой-то Волегов Михаил разыскивает. Хочет узнать адрес. Но милиция без моего разрешения не дает. Как быть?

Прошу через милицию узнать его адрес и дать мой. Через час я уже записываю адрес: станция Бурла, Алтайского края, ул. Пушкина, № 59-а, Волегову Михаилу Ивановичу...

Бегу на телеграф... Посылаю телеграмму, затем письмо. Вскоре — о чудо, почта почувствовала, постаралась, поторопилась — получаю ответ. Не могу не привести его полностью:

«Дорогому и любящему другу Некрасову Виктору Платоновичу, бывшему капитану по строевой части 88-го отдельного саперного батальона 79-й гвардейской стрелковой дивизии с самым наилучшим чистосердечным приветом к Вам Волегов Михаил Иванович, ваш бывший связной 1944 года. Виктор Платонович, прошло столько времени после того, как мы с вами расстались в 1944 г. под Люблином. Я сейчас не найду слов с чего начать. Во-первых, я вас, Виктор Платонович, благодарю, что вы так скоро отозвались. Это все произошло так просто, что мне даже самому не верится. Когда я вас проводил в медсанбат, то после вас я тоже недолго воевал. Взяли Люблин, форсировали Вислу, и был я под

Варшавой ранен. Был артналет, и меня ранило в левую ногу, в колено. Это было 9 августа 1944 г. Был я в трех госпиталях, домой пришел 4 января 1945 г. Жил в Барнауле до 1950 г., а потом выехал в Бурлу, где и в настоящее время живу. Работаю в Коммунальном отделе столяром. Семья у меня богатая. Жена Елена, старший сын Анатолий женат, работает шофером в совхозе, жена его Раиса — учительница и учится в педучилище. У них два сына — Саша, ходит в 1-й класс и Валера, ему всего один год. Дочка наша Галочка с 1947 г. и зять Виктор с 1944 г.— агроном, сейчас в армии. У них дочка Танюша — 1 год и 2 мес. Живут они у его родителей в Карасях — 100 км от нас по жел. дороге. С нами дочка Нина 1950 г., ученица 10 класса, и сын Борис 1952 г., ученик 8 класса. Вот это моя семья. Три внука, три раза дед, но бороды еще нет. Вот, Виктор Платонович, они, дети, и заставили вас разыскать. Все говорят — папа, расскажи да расскажи, а я и говорю: «Был у нас командир, жив или нет сейчас, говорю, не знаю, только знаю, что вы с Киева». У нас был разговор за вас, за фронт, и я знал только, что вы с Киева, а отчество забыл. Это вас дочка Нина нашла, и так быстро все получилось, что я и сам не пойму. Она хотела в архив, в Москву, а послала в Киев. Теперь узнали все подробно. Коротенько о себе. Живем мы на станции Бурла, теперь он уже район Бурлинский, граничит с Казахстаном и Новосибирской областью. Живу в своем дому и живем, как сказать, на половину — вперед не бежим и сзади не отстаем. Вы, Виктор Платонович, тоже сообщите, как вы живете, и вышлите свое фото. Я вас представляю, но ведь это было давно и не мирное время. Каково у вас здоровье и как рука у вас сейчас? В какую вы были ранены? И как зовут вашу мамашу, сколько им лет, живете в казенном или в своем доме? Высылаю свое фото — снимался в 65-м году. Было мне 41 год. Теперь уже 42, пошел 43-й. Но еще бегаю хорошо. Ну вот пока и все, заканчиваю писать. Извините, что я вас побеспокоил, но что меня заинтересовало, то эта ваша давняя простота. 22 года прошло, 22 раза обнимаю, 22 раза целую. Я жму вашу правую руку. Ваш бывший связной Волегов Михаил Иванович. До свидания. 5 декабря 1966 года».

К письму приложена была фотография... Да, не восемнадцать лет, пошел уже сорок третий... Но чубчик, зачесанный назад, тот же, и глаза те же, охотничьи. Брови сдвинуты, две морщинки от них вверх, по лбу, так и кажется, скажет сейчас: «Ну вот, товарищ капитан, опять не кушали. Донесение напишете потом, подождет ваш дивинженер, не умрет...»

Я тоже послал фотографию. На грех, нашлась только одна, снятая на... Бродвее,— остальные были все в галстуке, для удостоверений. Сразу же ответил: «Очень и очень благодарим за фото. Жена спрашивает, похож ли? Я только глянул и сказал — да. Усики те же самые. Но время прошло очень много, конечно, немного и постарели. Но все же я вас представлял...»

Не без трепета я послал ему и книгу. А вдруг обидится? Ведь в Сталинграде он был вовсе не связным, а рядовым бойцом в саперном бата-

льоне. А я данной писателю властью, да еще не сменив фамилии, превратил его в сталинградского ординарца. А вдруг друзья на смех подымут: «Говоришь, воевал, мины ставил, а командир вот твой пишет, что вовсе в услужении был...» Нехорошо как-то...

Но нет, не обиделся.

«— Мы всей душой вас благодарим за вашу скромную посылочку с книгой о том, как мы с вами вместе были на фронте. Можно почитать и кое о чем вспомнить, особенно о Митясове и Люсе. А мой сынишка, Боря, отбивает книгу у всех и сидит читает, а за вопросами ходит ко мне и спрашивает: «Папа, а вот кукурузник какой самолет?..» А я ему говорю — не спал всю ночь, как и мы, бомбил, а мы минировали, ходили за «языком». И дальше — «Вот вы, Виктор Платонович, пишете за мои пельмени и картошку в мундирах, так все смеются надо мной, а ведь это была сущая правда. Все было так, только нужно подумать и представить».

И кончает письмо: «Я бы хотел, чтобы вы приехали к нам на Алтай. Отведать нашего хлеба и соли. Хотя бы на минутку. Хоть на картошку, хоть на пельмени, хоть на окрошку, а все равно мы соберемся вместе. Посидим, поговорим, по маленькой выпьем...»

А в одном из последующих писем (посмотрев уже «Солдаты») приглашает вместе со мной и Юру Соловьева. Увы, пока это еще не осуществилось. Дела, болезни, расстояния...

Но встреча будет, я верю, я знаю. И обязательно вместе с Юрой.

«Книжный» и «киношный» Валега говорит Керженцеву:

«— Когда кончится война, я поеду домой и построю себе дом в лесу. Бревенчатый. Я люблю лес. И вы приедете ко мне и проживете три недели. Мы будем ходить с вами на охоту и рыбу ловить.

Керженцев улыбается:

— Почему именно на три недели?

— А сколько же? Вы больше не сможете. Вы будете работать. А на три недели приедете... У нас хорошие места на Алтае. Не такие, как здесь. Сами увидите. И пельменями вас угощу. Я умею делать пельмени. По-особому, по-нашему...»

То же самое мне говорил «живой» Валега. И я жду теперь этих пельменей. Дом у Валеги, правда, не в лесу, а в голой степи, и вряд ли мы будем ходить на охоту, да и охотник я, откровенно говоря, неважный и рыболов тоже, но не за этим же я поеду...

...Керженцев лежит во дворе сталинградского домика под пыльными акациями и долго не может заснуть. Войны в Сталинграде еще нет. Рядом с ним в двух шагах лежит Валега, свернувшись комочком, прикрыв лицо рукой.

И Керженцев думает:

«Маленький, круглоголовый мой Валега! Сколько исходили мы с тобой, сколько каши съели из одного котелка, сколько ночей провели, завернувшись в одну плащ-палатку... Привык я к тебе, лопоухому, чертовски привык... Нет, не привык. Это не привычка, это что-то другое,

гораздо большее. Я никогда не думал об этом. Просто не было времени. А ведь на войне узнаешь людей по-настоящему... (Дальше всякие мысли о войне, о людях на войне.) Ну, спи, спи, лопоухий. Скоро опять окопы, опять бессонные ночи. Валега — туда! Валега — сюда! Дрыхни пока. А кончится война, останемся живы, придумаем что-нибудь...»

Вот и кончилась она, и, о чудо, мы остались живы. И придумываем что-то. А пока скажу, как Валега: 25 лет уже прошло, 25 раз обнимаю, 25 раз целую тебя. До скорой встречи, четвертой, самой счастливой...

1967

ПИСЬМА *

Харьков. 22.12.43.

Наконец-то вчера вечером, на 6-е сутки мы добрались до Харькова. Думали, 2—3 дня, а вышло шесть. Ехали в основном благополучно, хотя не без обязательных автомобильных происшествий. До Полтавы, можно сказать, ехали все время хорошо без всяких инцидентов. В Полтаве же кончился бензин, и спас нас редактор полтавской газеты — Ленин знакомый,— давший нам 30 литров, которые и дотянули нас до Харькова. После Полтавы стала понемножку портиться машина, и в 30 км от Харькова настолько в ней все поломалось, что мы уже было пешком двинулись дальше. Но все-таки в конце концов починить удалось, и мы с грехом пополам, вздрагивая от страха перед каждой попутной ямкой, добрались до Харькова. Ночевали мы в селах, в хатах, население приветливое и охотно нас кормило, т. что хлеб и колбаса почти нетронутые приехали с нами сюда. Мерзли в дороге порядочно — машина открытая — но в основном только ноги, т. к. мы с головой накрывались брезентом, спасавшим нас от ветра. Кроме того, согреваться можно было и в кабине шофера. В Харькове нас ждало маленькое разочарование — Лида — Ленина жена улетела в Москву на 3 дня и вот уже скоро 2 недели как отсутствует. Зато в Ленькиной комнате мы застали его приятеля — журналиста с женой, временно «приюченных» Лидой в их комнате. Славная пара. Он — моряк, объездивший весь земной шар, она — как будто узбечка, хотя и зовут Шурой. Накормили нас жареной картошкой с салом и горячим кофе, не считая четвертушки водки. С дороги все это было очень приятно, тем более что в квартире холоднее, чем у нас в Киеве. Дров тоже нет. Освещение тоже коптилочное. Приятель к тому же заболел еще плевритом, одним словом, жизнь тоже не ахти какая сладкая. Сейчас Ленька пошел в редакцию, а я в валенках и «кудайке»

* Письма В. Некрасова полностью публикуются впервые.

рассматриваю журналы по искусству, спасенные Ленькой из соседней печки. Завтра намечаю поход в баню, а послезавтра, вероятно, двину дальше. Ну вот пока и все. Крепко вас целую. Надеюсь, что это письмо до февраля до вас все-таки дойдет.

Вика.

3.1.44.

Сегодня мороз. Впервые за все время появилось солнце. И ветер. Первый зимний день. В хате тепло, хотя единственный вид топлива здесь — солома. Хозяин жарит нам картошку — вчера мы получили масло. Я здесь уже четвертый день. Работой или, вернее, занятиями нас особенно не утомляют. Вчера и позавчера вообще занятий не было. Сижу в хате и читаю. Кончил Дюма. Вчера прочел «Диктатора Петра» и «В тупике». Хотя это и 23-й год, но я поражен, как тогда разрешали печатать такие вещи. — А с книгами здесь туговато, надо было больше из Киева взять. Достал у какого-то парнишки «Девяносто третий год» на украинском языке — постараюсь дней на 5 растянуть. Газет с Днепропетровска не читал. Питаемся только доходящими слухами. У вас вокруг Киева дела как будто совсем хороши. И у нас здесь кажется неплохо. Канонада с каждым днем все тише и дальше. Но без газет трудно и скучно. И в полку, и в госпитале, и в Сталинграде, даже в самые трудные минуты, мы аккуратнейшим образом получали даже московские газеты. Интересно, сколько меня здесь продержат. Начфина еще не видал. Он в другом селе и сейчас без денег. За декабрь уже платил здесь, т. что я, вероятно, получу сразу за 2 м-ца. А письма от вас, если только задержусь здесь, начну получать не раньше февраля. Ну, целую.

Вика.

10.1.44.

Дорогие Мама и Соня! Вот уже 10 дней, как я здесь. Скука отчаянная. Встаем часов в 8—9, я и мой сожитель — мл. лейтенант — довольно славный, простой и спокойный сызранец. Бежим через три хаты за хлебом, возвращаемся и завтракаем тем, чем хозяйка угостит. На свой завтрак, так же как и на ужин, не ходим — километра за $1^1/_2$ надо ходить от нас, а нам лень — ограничиваемся только хождением на обед. После завтрака часа 2 какие-нибудь занятия. В 2 обед. Вот и все обязанности. Остальное время делай что хочешь. Есть книги — читай, нету — скучай. Я занимаюсь пока первым. «93-й год», к сожалению, кончил, жду очереди на «Войну и мир». Надо было все-таки от вас что-нибудь еще из книг взять, а то без чтения здесь совсем сдохнуть можно. В госпитале хоть радио было, и газеты ежедневно, и кино, и возможность в город схо-

дить — и то скучали, а здесь — дыра... Прошло рождество. Хозяйка сделала кури, сварила узвару. Нам выдали сала, консервов, печенье. Чуть-чуть кутнули, но в общем скучно. Понемножку и обмундировывают нас. Получил валенки, меховой жилет, рукавицы. На дворе морозец, т. что кстати, хотя, по правде сказать, на воздухе бываем мы редко.

Встретил я здесь двоих друзей из нашей дивизии. Один был одно время в Сталинграде, полк. инженером в соседнем полку — я его, правда, мало знал. Другой — Чичев — к-ром взвода в саперном батальоне. И в Сталинграде, и позже он очень часто работал в моем полку со своим взводом. Очень славный малый. Мы с ним в один день, в октябре 42-го года пришли в дивизию. В августе он был ранен и вот уже 2 месяца находится здесь. Он сейчас со мной в одном взводе. (Мы здесь все разбиты на взводы и роты) — живет неподалеку. По вечерам, от нечего делать, собираемся и как старые ветераны, вспоминаем прошлые дни. Вот так и тянется наша жизнь... Видал начфина. Обещал 12-го платить. Сразу же вышлю. Аттестат, к сожалению, выписывать можно только из части. Целую.

Вика.

13.1.44.

Дорогие Мама и Соня!

Позавчера перебрался на новую квартиру, к Чичеву и Шевченко, моим старым друзьям по дивизии. Прожил с ними два дня, а сегодня чуть свет отправили их в командировку, вероятно, недели на две, а вместо них нового поселили. Так всегда на войне — только привыкнешь друг к другу, сдружишься, и бац — в разные концы. Сегодня, о чудо, получил письмо. Я даже не поверил, оказывается, от лейтенантши, моей попутчицы из Баку до Харькова. Работает в штабе нашей Армии и каким-то образом узнала мой адрес и написала. А от вас — нескоро и ждать. Если здесь не дождусь — с нового места опять месяц-полтора ждать.

Жизнь по-старому. Читаю «Войну и мир» — перечитывал в 39 году, на даче в Буге, а сейчас читаю с неменьшим, если не с большим интересом. Любопытно, что раньше мне интересны были военные куски, а сейчас — наоборот. Вообще — какой-то удивительно успокаивающий роман. Сегодня обещает быть начфин, т. что смогу выслать деньги. Боюсь, правда, что дадут только за декабрь. Ну, крепко целую.

Вика.

19.1.44.

Дорогие Мама и Соня!

Я уже на третьей квартире — перевели нас в другой край села. Хата теплая и относительно чистая. Живем вдвоем — я и мл. л-т (другой уже)

из-под Москвы. Совсем простой, но очень милый и услужливый паренек. Кроме нас, в хате еще шестеро — хозяйка и пятеро ребятишек. Но живем в общем дружно. Когда лень ходить в столовую, хозяйка нас борщом кормит, а когда получаем сало — жарит нам картошку. А вообще жизнь без изменений. Третьего дня сходил наконец в баню — вернее, помылся горячей водой, а вчера еще добавочно помыл голову. Все свободное время (а его достаточно) с упоением начитываюсь «Войной и миром» или же занимаюсь собственным литературным творчеством. Хорошо, что захватил тетради из дому, т. что в общем не скучаю и отсутствие интересного общества меня не тревожит. Несколько дней тому назад выслал вам 900 рублей. Следующая получка будет не раньше февраля. С января начну получать полную ставку 1450 р., т. что смогу кроме вас понемножку расплачиваться и с Ленькой, и с Баку.— Получил сегодня письмо из полка от некоего Иванова, подчиненного Ваньки Фищенко, с которым мы лежали в госпитале. Кое-кто еще остался жив. Сижу вот и пишу всем письма. Ну, всего хорошего. Крепко целую.

Вика.

5.2.44

Вот уже полтора месяца как я от вас уехал и до сих пор ничего не знаю об вас. Когда же наконец я начну получать. В резерве последние дни я со дня на день ждал и ежедневно бегал в штаб узнавать. Но так и не дождался. Обещали пересылать, но все горе в том, что мы теперь не стоим на месте (война идет успешно!), а все время движемся вперед, а это всегда расстраивает регулярность почты. Дороги ужасные, машины грузнут, и мы даже газет сейчас не получаем. Отсюда послал вам уже одну открытку дня 2 тому назад. Работаю я сейчас в большом Чуйковском хозяйстве (Ленька объяснит вам, что это такое — я думаю, он уже в Киеве). Превратился в заправскую штабную крысу. Сижу за столом, передо мной различные карты, схемы, папки с делами, одним словом, все то, от чего я уже давно отвык. Опять появились в моей жизни карандаши, угольники, резинки и прочие канцелярско-чертежные принадлежности. Работать приходится много — часов с 10 утра до 1 часу — двух ночи. Приходится иногда ходить и по различным заданиям, что особого удовольствия сейчас не доставляет — т. к. грязь невылазная. Вообще не зима, а какое-то недоразумение. Снега давно уже нет — только грязь, противная, вязкая. Сапоги и портянки хронически не высыхают.

Живем мы вместе со Страмцовым, вернее ночуем, т. к. только спать приходится у себя дома. Кормят не плохо. Дополнительно получаем сливочное масло, консервы, печенье. Табак и спички не переводятся. Одним словом, жаловаться пока не на что. С непривычки только после

своего 6-тимесячного ничегонеделанья немного устаю целый день работать. Но ничего — привыкну.

Народ, окружающий меня (всего 7 человек, считая чертежниц и машинисток), — симпатичный.

Со Страмцовым я знаком еще со Сталинграда. Он был тогда ком-ром саперной роты, которая всегда вела работы в моем полку. Часто бывал у меня и я у него. Симпатичный, культурный инженер-горняк, днепропетровец. Это он, собственно говоря, и сосватал меня, увидев в списках «безработных» мою фамилию. Майор Климович — до какой-то степени мое начальство — тоже очень культурный, остроумный и веселый москвич, инженер-архитектор.

Начальник мой тоже неглупый, серьезный, спокойный и выдержанный человек.

Как видите — первое впечатление у меня не плохое. Какое я на них впечатление произвел, не знаю, но думаю, что тоже не очень плохое.

Роман мой, по совершенно понятным причинам, остановился и, боюсь, нескоро возобновится. Четвертый том «Войны и мира» тоже не окончен. Вожу с собой в мешке. На чтение времени не хватает.

Ну вот и все пока. На письма от меня особенно не рассчитывайте, придется ограничиваться открытками. Мой адрес п.п. 07226.

Ну, всего хорошего.

Крепко вас целую и все-таки жду писем. Что слышно о Сергее Доманском и о других, возможно, обнаружившихся друзьях? Привет Жене и Лидии Васильевне.

Еще раз целую.

Вика.

15.2.44

Пишу Вам сейчас из своего бывшего полка. Попал сюда совершенно случайно. Поехал в командировку на несколько дней и попал как раз в то село, где стоит сейчас мой бывший полк. Представляете, как я обрадовался! Встретил сначала старшину разведки, единственного оставшегося в живых со всей разведки. Он повел меня к саперам. Из моих бывших осталось только двое — мой бывший связной (нечто вроде денщика) — Титков и еще один боец — Кузьмин. Других всех или ранило или убило. В живых остался и комсомольский наш вождь — Вася Черников, с которым мы дружили еще в Сталинграде. Весь вечер вчера с ним провели. Титков где-то достал немного водки, нажарил уйму картошки, и мы не очень пышно, но все-таки отпраздновали нашу встречу — я, Титков Вася и новый ком-р взвода. Почти все мои вещи, оставшиеся в полку <...>, пропали, литературу трофейную сожгли, остались только часы, которые уже покоятся в моем боковом карманчике.

Мой адрес п.п. 07226.

А все-таки приятно встречать старых друзей. Да и не только друзей. Я обрадовался даже лошадям, которые до сих пор еще живы, даже старым поржавевшим немецким минам, сохранившимся до сих пор как наглядные пособия. Из друзей своих не видал еще только начфина, жившего раньше всегда у меня. Уехал куда-то на пару дней. Думаю сегодня еще пробыть здесь, а завтра уже двину назад, если к тому времени мое начальство не переедет снова.— Опять выпал снег, и подсохшая было немного грязь опять вся размазалась. Ох, как она надоела! Скорей бы настоящая весна! Ну, крепко целую. Когда же наконец начну получать письма.

Вика.

1 марта 1944 г.

Урра! Сегодня вернулся после 5-тидневной командировки и нашел на окне сразу 6 писем — из них 3 от тебя, дорогая мамочка. Ты не можешь себе представить, как я им обрадовался! Измятые, старинные конверты «от присяжного поверенного Н. М. Александрова» и на них мой адрес, написанный твоим почерком, почерком, который я уже 2½ года не видал и к которому так привык до войны. И вот он опять появился в моей жизни — размашистый, неразборчивый, но такой близкий и дорогой. Но почему их так мало — этих писем. Неужели отправили из резерва обратно. Пришли письма № 1, № 5 и одно (по-видимому, второе) от Жени Парсадановой с твоей маленькой приписочкой. Последнее от 29.1. Из Баку, оказывается, письма скорей приходят, чем из Киева. Последнее письмо от Жени датировано 4.2.44.

И нужно же, в довершение ко всем вашим мытарствам тебе еще руку сломать. По себе знаю, как это противно чувствовать себя одноруким. Какая-то идиотская беспомощность. И все время цепляешься ей за все, и спать мешает, и вообще раздражает. Я, правда, под конец привык к своему гипсу и даже перестал замечать его, но сейчас, когда он уже давно снят, я все-таки чувствую большую разницу между правой и левой рукой. Мышцы атрофировались, и рука стала значительно слабей. Удивляюсь, как у тебя так быстро все-таки срослась кость. Я снял гипс через 50 дней после наложения и через 65 дней после ранения. А ты меньше чем через 1⅕ месяца после перелома уже воду таскаешь и дрова рубишь. Твои кости оказались моложе моих. Замечательно! Только ради Бога, больше не падай...

Чортова война, как она всем надоела! Не может быть, конечно, никакого сомнения, что раньше или позже я к вам приеду (я почему-то глубоко уверен, что все мы доживем до конца войны и даже дальше), но как бы хотелось, чтоб это поскорей произошло и чтоб я приехал к вам не на 6 дней, а навсегда, чтоб мы могли по-человечески устроиться и жить все вместе, без долгов, рубки дров и хождений за водой и на ба-

зары. Это будет, я знаю, но, боюсь, не 1 мая, а немного позже. Черчилль, сукин сын, даже на этот год не обнадеживает.

И все-таки я счастливый человек! Все-таки мне удалось побывать дома и повидать вас. А не рань меня — этого б никогда не случилось. И все-таки я верю в свою счастливую звезду (как пишет мне Женька) — все-таки 2½ года я провоевал и в самых адских котлах перебывал (позапрошлогоднее Харьковское наступление, затем отступление, Сталинград, Донец в этом году) — и все-таки жив остался и вас повидал. Ну разве это не везение? Вот грустно только, что бабушку в живых не застал. Для нее, может быть, это даже и лучше, чем мучиться в ее возрасте так, как вы мучаетесь, но все-таки такая чудная бабушка у меня была, как ни у кого другого. Я вспоминаю наши уютные вечерние прогулки в Буге, на опушку, в сопровождении коров и собак, красивые закаты, чаепитие на веранде, хождения навстречу к поезду к овсам. Как это было все-таки хорошо и уютно, несмотря на целый ряд жизненных, бытовых трудностей, которые кажутся теперь такими незначительными, ничтожными.— Теперь вообще живешь только мечтами о будущем или воспоминаниями о прошлом. О настоящем думаешь только в одном плане — скорей бы оно прошло. Какое будет будущее, трудно сказать, но прошлое все-таки было хорошее. Во всяком случае, теперь таким оно кажется. Были друзья, был свой дом, интересная учеба (о работе я, правда, этого сказать не могу) — а эти три элемента, пожалуй, самые важные в жизни. Я часто, засыпая, вспоминаю и представляю нашу киевскую квартиру. Какой чудный вид, сколько воздуху, света, какие милые и привычные все предметы — шкафы, книги, ободранные кресла, полочка с бирюльками, большое кресло, в котором бабушка любила сидеть (потом она, правда, полюбила небольшие ампирные кресла)... Даже потолок с привычными трещинами, даже люстру с разбитым одним абажуром и закопченной куколкой, даже оборванные выцветшие обои и те вспоминаю с любовью...

Жаль, конечно, что всего этого нет теперь — ни книг, ни <...>, ни фотокарточек моих — но все это в конце концов ничто по сравнению с тем, что вы пережили, эти ужасные 2½ года и что мы встретились, и встретимся еще раз, уже навсегда.

Очень рад, что обнаружился Зитька и что он и Женя Гриднева и Леня так внимательно к вам относятся, ты ничего не пишешь о Беллочке и ее детях. Где они? О З.К-не и Тусе ты, по-видимому, писала в одном из недошедших писем. Подробностей не знаю. Где Тусин муж? Где ее ребенок. Пишет ли Женя что-нибудь Сереже? Впрочем, на все эти вопросы ты, вероятно, уже 20 тысяч раз отвечала, но они до меня не дошли.

Я очень беспокоюсь — получили ли вы мои деньги, которые я выслал вам из резерва в середине января — 900 рублей. С тех пор я еще ничего не получал (хотя мне и полагается за 2 месяца около 3000) — мучаюсь, что ничем не могу вам помочь. Скорей бы уже определился бы

на какое-нибудь постоянное место, а то это существование между небом и землей, между штабом и батальоном мне уже, признаться, порядочно надоело. Единственное, что меня еще утешает, это, что вокруг меня сейчас симпатичные и даже интересные люди, с которыми можно и поговорить, и поспорить, и пошутить, но к сожалению, вскоре придется с ними расстаться и запрячься опять в ярмо. А насколько все-таки интереснее и легче жить, когда возле тебя есть люди, которые тебе не противны и с которыми есть что-то общее. Ну, да ладно. Что-то заныл я.— Скорей бы весна. А то надоела эта грязь и распутица, особенно противная здесь на Днепропетровщине. Ну, всего хорошего. Крепко вас обнимаю и целую. Привет всем друзьям. Одновременно пишу и Жене. Еще раз целую.

Ваш Вика.

5.03.44. № 2

Начинаю нумерацию писем, считал за № 1 посланное дня 2 тому назад, ответное на первые письма пришедшие от вас.

Итак, получил уже назначение в саперный батальон своей родной дивизии на должность заместителя командира батальона. Посмотрим, что из всего этого получится. Батальон находится в другом селе, и итти туда надо километров 35. Перспектива — малособлазнительная — грязь непролазная. Как она надоела, если б вы только знали. Живя в городе, в мирное время, грязь как-то не замечаешь. Снег, потом ручьи, потом сухо. Вот и все. А тут в деревнях только и знаешь, что ругаешь ее. Подошвы у сапог отрывает. И так весь февраль было и, по-видимому, весь март будет. Скорей бы весна!

Решили сегодня не выходить — двинуть уже завтра с утра. Пишу «решили» в множ. числе, т. к. нас сейчас трое — я, Обрадович и Скородумов. Обрадович в прошлом был командиром взвода того батальона, в который я еду. Часто выполнял работы у меня в полку. Сейчас он работает у корпусного инженера. Пресимпатичнейший молодой человек. Ленинградец, архитектор. На этой почве мы сблизились с ним еще в Сталинграде. Теперь же, во время моих командировок (а они почти всегда были в этот самый корпус), я всегда к нему заезжал. Последний раз я у него 5 дней провел. Сейчас же он оказался вместе со мной, т. к. приехал сюда зуб рвать и живет пока у меня. Кроме всех своих положительных качеств — культурности, мягкости, интеллигентности, он обладает еще одним замечательным качеством — у него чудный слух, и он знает наизусть чуть ли не все оперы. Евг. Онегина, Пиковую даму, Риголетто, Царскую невесту может чуть ли не с начала до конца пропеть. Этим мы и занимаемся, бездельничая сейчас, лежа на своих набитых соломой тюфяках. Я ему заказываю оперы и арии, а он исполняет. Я так за

время войны соскучился по музыке, что даже его далеко не Шаляпинское исполнение доставляет удовольствие.

Со Скородумовым я познакомился в резерве, а последнее время он был прикомандирован к нашему отделу и тоже разъежал в командировки с различными поручениями. Он москвич, по образованию геолог. Не глуп, хотя по интеллигентности и уступает Обрадовичу. Мы с ним подружились на почве Толстого, которым увлекались в резерве и культ которого до сих пор у нас свят. Я из резерва притащил с собой сюда 4-й том «Войны и мира», который мы буквально «прорабатываем» в перерывах между операми. Он обожает Толстого и неплохо его знает — весьма редкое теперь явление. Я тоже влюбился теперь в Толстого, и некоторые сцены мы по многу раз перечитываем и вспоминаем. Некоторые места, честное слово, до того замечательны, что дальше некуда. «Объяснение в любви» между Эллен и Пьером, отъезд Ростовых из Москвы, смерть Пети Ростова, первая атака Николая Ростова, да, господи, всех и не перечтешь.

Как видите, мы довольно культурно проводим время. Поем, спорим о Толстом, об архитектуре, искусстве, международном положении (больше всего, конечно, теперь о Финляндии) ну, и конечно, бьем вшей. Сейчас, правда, эта проблема у меня почти разрешена — сегодня я, например, не обнаружил на себе ни одной вши (помните, как дети в «Петре-диктаторе» ловили вшей на московской тетке), но это после основательной бани, которую мы недавно себе тут устроили, стирки белья и полной дезинфекции. До этого же, откровенно говоря, эти животные довольно прочно на мне обосновались, главным образом поселившись в шинели и брюках. Теперь все уничтожено, и я блаженствую.

Ну вот и все пока. Был еще один друг, собст. говоря, «друг» — это слишком много сказано, Кролль, о котором я вам уже писал — тоже участник всех наших споров, но сейчас он тоже в командировке и, по-видимому, я его уже не увижу. Страмцов тоже на время уехал, т. что остались мы трое.

Следующее письмо ждите уже из части. Адрес ее, по которому вам надлежит теперь писать — полевая почта 16414.

Целую крепко.

Вика.

3.05.44. № 15

Опять шагаем. Пятый или шестой день, или вернее ночь, шагаем. Уходим как смеркается, приходим с рассветом. Днем — спим как убитые, завтракаем, обедаем и опять засыпаем. Поэтому и перерыв в письмах. Сегодня, хотя был и довольно большой переход, но я успел уже и поспать, и газеты прочитать, и наконец за письма взяться. Погода чу-

десная, на небе ни одного облачка, солнце вовсю. Сижу во дворе, на соломе и пишу на коленях. Кругом спят бойцы. Рядом Люся строчит какие-то сведения дивинженеру. Легко позавтракали вареным мясом и молоком. Теперь ждем обеда.

1-е мая, к сожалению, нам не удалось встретить по-настоящему. Всю ночь шли... Но как шли. Такого ужаса в природе я, пожалуй, еще никогда не видал. Ночь, тьма, сумасшедший ветер, сбивающий с ног и резкий, ни на минуту не прекращающийся, хлещущий прямо в лицо дождь. Промокли до ниточки, продрогли... Всю ночь брели по скользкой, вязкой грязи, ничего не видя вокруг себя. К месту назначения прибыли часов в 9. С трудом нашли себе квартиры. Растыкались по 2—3 человека в комнатах и почти целый день занимались тем, что сушили вещи — сидели в одних мокрых, грязных кальсонах. Хозяйка постирала нам портянки, носки, сварила супу, а потом, когда пришли наши обозы — по случаю праздника немножко выпили первомайской водки, а потом наслаждались настоящим кофе-мокко. Это было самое приятное в этот день. Целую громадную кастрюлю наварили, и я пил и вспоминал наш утренний, киевский кофе, к которому я тогда почему-то так хладнокровно относился.— Вечером опять пошли. Перед самым отъездом из Овидиополя получил очередную пачку писем от Страмцова, правда, очень давнишних. Впрочем, я их читаю с неменьшим удовольствием. В одном из писем ты пишешь, что у тебя такое впечатление, как будто мы ни о чем с тобой не успели поговорить. Ты знаешь — у меня такое же впечатление. А я ведь целую неделю пробыл...

В связи с нашими передвижениями опять перебои в почте. Пока только одно письмо от вас на этот адрес получил.

Ну — готов обед. Кончаю письмо. Да — не встретила ли ты Михаила Григорьевича Болотова, Нанкиного поклонника? Загляни как-нибудь в Рентгенинститут — он, вероятно, там работает.

Интересно, как вы встречали 1 мая. Были ли у вас хоть к этому дню деньги? Как поживают Женя с Лидией Вас-ной. Как ее здоровье?

Привет всем. Крепко целую.

Вика.

8.06.44. 26 или 27

Дня три вам не писал, и уже чего-то не хватает. Ну — поздравляю со вторым фронтом! Наконец-то! Дождались! Надеюсь, что к моменту прихода этого письма к вам бои будут уже у самого Парижа. Конечно, и у вас так же, как и у нас, это сейчас основная тема всех разговоров и спрос на карты Франции очень велик. Я оказался все-таки тоже предусмотрительным. Еще на Буге, кажется, я нашел в грязи небольшую карту Франции и в ожидании открытия 2-го фронта подобрал ее. Вот и пригодилась. Есть еще и Норвегия. Авось, и там высадят.

Наша жизнь в сказочном лесу, в котором так хорошо пахло акацией и в кот. мы так уютно устроились — палатки, дорожки, самодельные столики и скамейки — окончилась. Мы отъехали от своего расположения на 20 км. и превратились в ... косарей! Устроились тоже в лесочке, но пониже и помельче и на косогоре. Вобщем, конечно, тоже не плохо, но кино нам теперь уже не видать, а главное почта далеко — на старом месте. Впрочем, по-видимому, долго мы здесь не просидим и уедем.

Погода чудесная, солнечная. Жаль только, купаться негде. Третьего дня ходили, правда, за 3 км. на ставок — помылись и немножко загорали, но это было еще на прежнем месте, а здесь, поблизости ничего мокрого нет. В прошлом году в это самое время мы жили под Купянском, на самом берегу озера и целыми днями купались.

Посылаю вам любопытное письмо, кот. получил из Москвы. В период безделья в Апостолово мы с Обрадовичем, как-то прочитавши в «Правде» статью акад. Щусева о восстановлении Сталинграда и о предполагаемом устройстве парка культ. и отдыха на Мамаевом кургане (место, на кот. мы провоевали 5 месяцев в Сталинграде), написали статью в «Правду». Ответ вам и пересылаю. И газетную статью тоже пересылаю. По-видимому, наше письмо возымело все-таки какое-то действие. Посылаю вам и свою фотокарточку, снятую для удостоверения. Письма получаю более или менее регулярно. За все время получил уже около 70 штук. Недавно получил письмо еще от одного своего госпитального друга — замечательного милого мальчика Саши Кондрашева. Он тоже где-то тут, совсем рядом. Может, и встретимся. В ручке кончаются чернила. Пора и мне кончать.

Жду писем.

Если поедем, будет большой перерыв — у меня конечно, а не у вас. Я вам буду со всех станций посылать.

Крепко целую.

Вика.

29.06.44 Сбился! будем считать 35

Вчера вечером, на 16-й день перерыва, пришли первые письма — два от тебя от 30.5 и 5.6 (48 и 50) и одно от Леньки. Надеюсь, что это начало целого потока писем, накопившихся за этот промежуток времени. И газеты московские стали получать, даже на второй день после их выпуска. Сразу стало как-то веселей. Зато метеорологически стало куда скучней. Второй день льет дождь. Вчера была гроза, а сегодня зарядил серенький, нудный с перерывами хронический дождик. Сидим вчетвером в палатке, курим, пишем письма, читаем. От живописной речки нашей ушли поближе к начальству. Живем в лесу. Нету уже горизонта, синеющих вдали лесов, камышей и заходящего так красиво солнца. Правда, почта, радио и кино под боком, но все-таки там было лучше. Живем мы

по-прежнему вчетвером — я, Люся, Митясов (новый после Кучмы нач. штаба) и наш ординарец Валега. Живем дружно, душа в душу и я даже сказал бы весело, хотя особых развлечений и нет. Боюсь только, что на место моего славного, всегда веселого, неунывающего Митясова пришлют нового офицера, т. к. он временно занимает эту должность. Он, т. сказать, выдвиженец — в бат-н пришел в Сталинграде солдатом и вот дорос до нач-ка штаба. Несколько дней тому назад мы все снимались общей офицерской группой и потом поодиночке или попарно, по желанию. Дня через 2—3 будут готовы карточки, и я вам вышлю.

Ты все боишься, что я вернусь домой в трусах. Могу тебя успокоить — все выданное обмундирование остается за нами и в крайнем случае первый послевоенный год я похожу как-нибудь и в военном. Кроме того, не все же время нам сидеть в лесу, настанет опять и наш черед гнать фрицев, а у них уже твердо укоренившийся обычай бросать все свое барахло, чтобы было легче бежать. Я уже за время войны стал не таким уж щепетильным, и меня нисколько не коробит немецкий плащ на моих плечах или авторучка в кармане.

Ты не пишешь (или — возможно, не дошло еще письмо) — получили ли вы мой аттестат. И как вы сейчас живете? Сейчас, правда, лето — легче. Не надо дров, и коптилки не так донимают. Застеклили ли вы окна? Как дела с уборной? Неужели до сих пор на 3-й двор бегаете? Как взаимоотношения с соседями? Утихла ли уплотнительная кампания? Ты спрашиваешь о Иончике. Да я толком и сам о нем ничего не знаю. Письма от него приходят редко и все рассуждительно-философского порядка. О жизни своей почти не пишет. Ленька писал мне, что он стал заслуженным, но сам он об этом ничего не пишет.

Ну, все. Целую.

Вика.

23.07.44.

Представляю, как вы волнуетесь, не получая от меня писем. Но, ей-Богу, я с первого дня наступления все собираюсь и буквально нет свободной минутки. Немец бежит так, что мы его и не видим. Мы делаем по 30—35 км в день и никак догнать не можем. Сейчас, если не тронемся дальше, напишу подробное письмо. А это на всякий случай.

Крепко целую.

Вика.

СОДЕРЖАНИЕ

НЕКРАСОВ Виктор Платонович

ТРИ ВСТРЕЧИ

Рассказы, письма

Предисловие В. А. Потресова

Редактор и составитель В. А. Потресов

Технический редактор З. П. Кузнецова

Сдано в набор 04.06.90. Подписано к печати 06.07.90. Формат 70×108 1/32. Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Усл. кр.-отт. 2,28. Уч.-изд. л. 3,20. Тираж 150000 экз. Зак. № 2345. Цена 20 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.